



## Из исторического наследия

Предлагаемые читателям фрагменты из пятой части многотомной книги: «Воспоминания Ф.Ф. Вигеля». [Москва, 1865, Катков и К°. (В университетской типографии)] и, сложенные в некий сюжет, мы решили опубликовать в связи с 200-летием великой Нижегородской ярмарки, грандиозной по замыслу и воплощению. Свободно раскинувшаяся на километры по левобережью Оки, вливающейся здесь в Волгу, ярмарка, поражала её гостей и жителей города, размахом, многочисленностью и красочностью павильонов, продуманностью инженерных сооружений, созданных замечательным талантом испанского инженера на русской службе, Августином Бетанкуром, генерал-лейтенантом, руководителем строительства, утверждённого в полномочиях государем императором Александром Павловичем. Он был творцом генерального плана ярмарки, человеком, определившим общий замысел в организации территории Стрелки. Гостиный двор окружал обводной широкий 100-метровый полуторакилометровый канал. Была выстроена система мостов, главным из которых наплавной через Оку длиной более полукилометра – тогда самый длинный мост в России! На Нижегородской ярмарке построена первая в России подземная сводчатая канализация. Подобного, как по обширности, так и по краткости времени постройки в России ещё не было. Открытие ярмарки, состоявшееся в 15-го июля 1822 года, было великим торжеством Российского государства!

Автор мемуаров, Филипп Филиппович Вигель близок по службе с Августином Бетанкуром, хорошо знал и Огюста Монферрана – архитектора, принимавшего деятельное участие в ярмарочном строительстве. Филипп Вигель живописует работу Бетанкура в особом министерстве (главной дирекции путей сообщения), в организации и руководстве им инженерного высшего училища (институт инженеров путей сообщения), в архитектурном комитете, где Бетанкур был его председателем, в семейном кругу и т. д./

В современном издании сочинения Ф. Вигеля под названием «Записки» (издательство «Захаров»), весьма значительная часть сцен и эпизодов, связанных с Нижегородским торжищем, с путешествием в 1819 году автора в команде Бетанкура из Петербурга в Нижний Новгород по воде на строящуюся ярмарку и т. д., отсутствуют и потому не знакомы подавляющему большинству читателей. Мы восполняем этот минус настоящей публикацией.

Филипп Филиппович Вигель – русский писатель-мемуарист – родился 12 (23) ноября 1786 года в Симбухино Пензенской губернии. По отцу – швед, по матери – из дворянского рода Лебедевых. Отец, Филипп Лаврентьевич Вигель (1740-1812) с 1801 года – первый пензенский гражданский губернатор. Мать – из рода первого пензенского воеводы Ивана Лебедева. Воспитывался в Москве и в Зубриловке (тамбовском имении князя С. Голицына). Службу начинал в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Был бессарабским вице-губернатором (1824-1826), градоначальником в Керчи (1826-1828). Последняя должность – директор Департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий. В 1840 году вышел в отставку. Автор широко известных и популярных мемуаров: «Воспоминания» (или «Записки»), которые содержат богатейший материал по истории и культуре дворянского общества, русского быта и нравов первой половины XIX века. Мемуары, долгое время ходившие в списках, опубликованы со значительными цензурными пропусками в «Русском вестнике» после смерти автора (1864) и пользовались широ-

кой популярностью. В 10-х годах XIX века – член литературного кружка «Арзамас», был знаком с Пушкиным. Политические взгляды Вигеля, в поздние годы, – верноподданнические. Уникальную коллекцию из трёх тысяч с лишним листов литографических и гравированных портретов разных лиц и около восьмисот гравюр в книгах, Ф.Ф. Вигель передал в дар Императорскому Московскому университету в 1853 г. (хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова). Умер – 20 марта (1 апреля) 1856 года в Москве.

Подготовка текста к публикации осуществлена журналом «Вертикаль. XXI век» по вышеназванной книге издания 1865 года. Публикуются эпизоды воспоминаний из II, III, XI-XVI глав части пятой упомянутой книги. Нумерация глав опущена. Текст между III и XI главами отделён пробелом с многоточиями; далее, главы XI-XVI, каждая, отделена от другой строчным пробелом.

А. Мюрисен

## Филипп ВИГЕЛЬ

# ВОСПОМИНАНИЯ

...Поговорив о царях, о важных политических интересах Европы, я должен теперь обратиться к малозначащей особе своей, для которой в сем 1816 году пришла эпоха жизни более деятельной, не совсем бесполезной, как было дотоле.

В феврале месяце, одним утром, граф Ламберт<sup>1</sup> прислал пригласить меня к себе в канцелярию. В объяснениях, которые мы имели, увидел я чистосердечное желание быть мне полезным. «Вы теперь ничего не делаете, не хотите ли чем-нибудь заняться? Представляется к тому случай, – сказал он мне. – Слыхали ли вы о генерале Бетанкуре? Он в большой доверенности у государя, и по части механики можно почитать его европейскою знаменитостью. Число фальшивых ассигнаций умножилось; надобно переменить их форму; для того хотят устроить особую фабрику, и государю угодно было дело это поручить Бетанкуру. Чрез это поставлен он в близкие сношения с министром финансов, вовлечен в частую переписку с ним и другими ведомствами, а ни языка русского, ни русских форм вовсе не знает. Ему нужен чиновник, который бы хорошо знал французский и русский языки, и на которого бы мог совершенно положиться. Он просил меня о приискании ему такового: я был коротко с ним знаком в Мадриде<sup>2</sup>, когда я находился там секретарем посольства: я ему назвал вас, но не смел обещать ему вашего согласия. Сегодня вечером поедете к нему вместе; во всяком случае, это будет для вас приятное знакомство. Первоначальные занятия ваши при нём не будут иметь для вас ничего обязательного, вы будете трудиться почти частным образом: пройдет недели две, три, не более, и вы увидите – полюбились ли вы друг другу; тогда, продолжая оставаться в министерстве, можете вы официально быть к нему откомандированы и из сумм, назначенных на заведение и устройство ассигнационной фабрики, можно будет удовлетворять вас приличным содержанием. Впрочем, это ни мало не изменит наших прежних условий; место с хорошим жалованьем и славною квартирой, при службе не весьма утомительной, которое предложил я вам к комиссии погашения долгов, откроется вместе с нею не ближе как в конце мая или в начале июня. Оно вас ожидает, и до тех пор пройдёт довольно времени, чтобы вам на что-нибудь решиться».

1 Граф Ламберт – начальник отделения канцелярии министра финансов, действительный статский советник.

2 Мадриде (Ред.).

Мы нашли Бетанкура одного в обширном кабинете. Оно усадил нас вокруг письменного стола своего, разговорился, и знакомство с ним сделалось у меня скоро. Старик показался мне живым, весёлым, но не менее того почтенным.

Согласно сделанным накануне предварительным условиям, на следующее утро, явился я опять к нему в тот же кабинет. Он сам вынул мне небольшую кипу бумаг, прося меня привести их в порядок. Я разобрал их и с удовольствием увидел, что дела у меня будет немного. Затруднительно было только каждую бумагу писать вдвойне: Бетанкур не хотел подписывать того чего не понимает, а казенные места не обязаны были знать по-французски. И для того, на перегнутом пополам листе, на одной половине французское подписывал Бетанкур, а на другой русское скрепял я. Надобно было написать сперва бумагу, потом перевести её, переписать и, наконец, занести её под номером в особую тетрадь. Новый начальник мой дивился гениальности моего проворства. Малое количество, самое содержание и краткость сих бумаг одни делали труд сей важным.

Долго суждено мне было находиться при этом человеке. По многим отношениям он был лицо весьма примечательное, особенно же, как выражение духа времени, смешения аристократических предрассудков с плебейскими промышленными наклонностями. Вот почему его самого, семейство его, все, что мне известно о его жизни, хочу я изобразить здесь с некоторою подробностью.

Неподалеку от Лилля, во французской Фландрии, и поныне можно найти городок или селение Бетанкур. Предки русского генерала были его владельцами и сохранили его название. Известно, что за люди были эти *сыры*. Когда, при герцогах бургундских, вся эта страна начала процветать, и приняты были сильные меры для безопасности жителей её богатых, торговых и промышленных городов, то владельцы замков, лишившись средств, стали вооруженною рукой делать поборы на больших дорогах, и даже грабительство своё, по соседству, перенесли на другую свободную стихию. Услугами сих пиратов воспользовалось правительство небольшого Португальского королевства, которое, будучи прижато к Атлантическому океану, на него беспрестанно устремляло взоры свои, и на его пространстве единственно искало себе чести и прибыли. Оно не обманулось: ещё до Христофора Колумба и Васко-де-Гама, смелыми португальскими мореплавателями обретенны острова Зеленого Мыса, Мадера и Асорские острова и розданы им. Моряк Бетанкур один из сих островов с графским титулом получил в своё владение; иные говорят – даже Мадеру, но я за это не ручаюсь. Только потомки его, видно, лишились своего острова, ибо сделались гишпанскими<sup>3</sup> подданными и жителями Канарских островов; и наш Бетанкур родился на счастливом Тенеривском Пике, в счастливые для Гишпаний<sup>4</sup> дни короля Карла III.

Есть искусство вовремя родиться и вовремя умирать: в числе других Бетанкур имел и это искусство. Что бы было с ним, если бы родился он ранее? Из рук самой природы вышел он механиком. Заботясь о благе государства своего, Карл III устраивал тогда славные, покойные дороги, строил мосты, рыл каналы и чистил Гвадалквивир, одним словом, создавал в Гишпаний всё то, чего ей недоставало. Ему нужны были инженеры и архитекторы, для них заводил он школы и, подобно Петру Великому, подданных своих посылал учиться за границу. Отправленный им в Англию, Бетанкур провел там молодость свою. Когда Годой, князь постыдного мира, ввел Бурбона Карла IV в дружественные сношения и союз с французскою республикой, и гишпанским подданным открылся свободный путь в Париж, то Бетанкур воспользовался тем, чтобы посетить сей город, где после революции искусственная часть во всех отраслях про-

3 Испанскими (Ред.).

4 Испании (Ред.).

мышленности стала достигать совершенства. Возвратясь в отечество, сделался он нечто вроде начальника сухопутных и водяных сообщений, полагать должно, не выше того, что у нас директора департаментов.

С ним в Мадриде коротко был знаком посланник наш Муравьев-Апостол<sup>5</sup> и, желая угодить государю, который имел одинаковые вкусы с Карлом III, старался подговорить его приехать в Россию; но он никак не мог решиться. Заметив, однако же, что Наполеон отечество его с каждым годом более подбирает в мощные когти свои, и предвидя беду неминуемую, сам, наконец, предложил себя. За условленную цену, по контракту, заключенному с ним, как со знаменитым художником, не более, приехал он в Петербург осенью 1807 года. Сумма, по условию ему назначенная, была немаловажная: двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями, что ныне составило бы около девяноста тысяч. Танцовщицы и певицы, на которых деньги сыпят ныне без счета, едва ли столько получают, а он тоже некоторым образом принадлежал к разряду артистов: гишпанскому гранду столько бы не дали. На его беду, в самое время приезда его курс на серебро начал возвышаться, а на ассигнации быстро упадать. Увидев, что через это лишается он более двух третей ожидаемого, стал он громко роптать: беспрестанно умножая содержание его, довели его, наконец, до шестидесяти тысяч рублей. Он этим не остался совершенно доволен: заметив, что в земле, куда он приехал, чин и военный мундир преважное дело, стал требовать того и другого, и его приняли в службу генерал-майором по армии. Тогда притворился он обиженным, утверждая, что чин сей слишком мал для человека, который в отечестве своем был министром; не вдруг, но через два года произвели его генерал-лейтенантом. Не помню, за что государь пожаловал ему Аннинскую ленту; он отослал ее назад, утверждая, что ему, кавалеру св. Иакова Компостельского, неприлично принять орден ниже его, и, наоборот, государь прислал ему Александровскую ленту. Кто не знает, что орден св. Иакова, равно как и ордена Ависа, Алкавтары, Калатравы, Монтеса суть военно-монашеские братства, рассеянные по Португалия и Гишпаниа, и что Мальтийский почитается гораздо выше их? Но его ничем не хотели оскорбить.

Я не виню его: по понятиям, которые имеют на юге и на западе Европы, в земле северных варваров иностранцы ничего не могут выиграть скромностию, а всё могут брать смелостию, наглостию. С таким содержанием, в таком чине, нетрудно было потомку владетельных графов Мадеры и его семейству приписаться к нашей аристократии. В неё так и врезалась, так и засела в неё жена его Анна, которой особа имела краткость сего имени и совершенно форму небольшой ступки или иготи<sup>6</sup>. Она была католичка, англичанка с французским прозванием, урождённая Жордан, как она подписывалась, не знаю для чего: кому была до того, какая нужда, и чем могло это умножить её достоинство. Надобно полагать, что смолоду была она красива собою; без того, кто бы велел Бетанкуру жениться на ней, когда она была низкого состояния? А спесива была она так, что не приведи Бог.

К счастью, дочери ни с какой стороны не походили на Анну Ивановну, а скорее на родителя, Августина Августиновича. Когда они приехали в Петербург, старшая, Каролина, еще молодая, начинала уже дурнеть и стареть, вторая, Аделина, поразила всех своею красотой, а меньшая, Матильда, была еще ребенком. Жаль было смотреть на этих милейших девиц, когда переступали они за двадцать лет. Цвет лица их вдруг начал портиться, становиться багровым, кожа начинала грубеть и покрываться угрями. Жар в крови, вырывающийся наружу, был у них наследством от отца, которого лицо в старости безобразил густо-малиновый цвет. Когда я начал их знать, одна только пятнадцатилетняя Матильда пленяла наружностью; а две старшие давно уже перешли за краткий

5 И.М. Муравьев-Апостол – писатель, государственный деятель (Ред.).

6 Иготь – ручная ступа, ступка, металлическая и каменная (Ред.).

срок, который жестокая к ним природа дала их прелестям. Но было им, чем заменить эту великую потерю: каждое слово их выражало грацию ума и сердца; с восхищением можно было слушать их, когда играли на арфе и на фортепиано, с восхищением любоваться их рисунками и их народной пляской фанданго и болеро; о качуче тогда ещё помина не было. Можно ли было удивляться беспредельной нежности к ним отца, и кто бы не был ими счастлив?

В жилах у старика пылал ещё жар раскалённого неба, под которым он родился, и, как все вспыльчивые люди, имел он доброе сердце и веселый нрав. Ума было у него пропасть, и разговор его был занимателен. Аристократическое чувство, правда, никогда не покидало его даже за станком, за которым всегда трудился он, когда не было у него другого дела; но он принадлежал к восемнадцатому столетию, в котором общему поговоркой было: *poli comme un grand seigneur* – учтив, как великий барин. Читатель, с которым как можно короче старался я познакомить себя, не удивится, узнав, что с таким человеком мы скоро и близко сошлись.

Да какая же была его настоящая должность? Можно спросить, и ведь не сам же он делал машины? Для того чтобы отвечать на этот вопрос, нужно за несколько лет воротиться назад и вкратце рассказать историю одной из важных отраслей государственного управления. При Екатерине учреждена экспедиция водяных коммуникаций и поставлена на ряду с коллегиями. При ней весьма благоразумно и успешно управлял этою частью один гражданский чиновник, действительный тайный советник граф Сиверс. В первых частях сих записок сказал уже я, что при учреждении министерств поступила она в ведомство министра коммерции, и что в 1809 году, преобразованная в особое министерство, под названием главной дирекции путей сообщения, находилась под управлением принца Георгия Ольденбургского. Там же упомянул я об образовании особого корпуса гражданских инженеров, коим для поощрения даны были военные чины и мундиры. Для пополнения великого недостатка в сих инженерах, начали набирать в новый корпус людей кое-откуда, по большей части из гражданского ведомства.

Дабы на будущее время не нуждаться в них, учреждено для них особое высшее училище под названием института инженеров путей сообщения. Для помещения сего нового заведения куплен был за безделицу, за триста тысяч рублей ассигнациями, великолепный дом, или, скорее, дворец князя Юсупова на Фонтанке, у Обухова моста. Продавец построил его на славу, по образцу отелей Сен-Жерменского предместья, между двором и садом, с тою только разницей, что на просторности, ими занимаемом, можно было бы построить три или четыре парижские отеля. Все ученики были своекоштные, и ни один из них не имел жительства в институте, ни даже права заглядывать в сад, ему принадлежащий. Всем пользовались заведывающие им иностранцы. Он состоял под управлением особого директора, над которым были ещё принц Ольденбургский, в виде попечителя или покровителя, и генерал Бетанкур, под названием главного начальника института. Занимаясь разными проектами и планами, сперва потешал он ими только императора, но тут, по учреждении института, коего был он настоящим основателем, можно сказать, приобрёл он оседлость. Он занимал большую, лучшую часть здания, которую, находясь при нём, я посещал ежедневно. Он не принадлежал к корпусу инженеров, не носил их мундир, числился во свите государя и почитал себя зависящим единственно от него. Он признавал однако же перед собою первенство принца, пока тот был жив; но после кончины его сделался совершенно независимым от преемника его, инженер-генерала Франца Павловича де-Волана. Здание института со всеми его принадлежностями было как бы отдельное царство, в котором господствовал он самовластно.

Я опять вступил в мир, мне дотоле совсем неизвестный. Подчиненные Бетанкура, коих число было небольшое, составляли свиту, штат и обще-

ство его. Я никаких сношений не имел с ними по службе, но, каждодневно встречаясь, скоро свёл с ними знакомство, которого не искал и не избегал. <...>

Образование института было довольно странное; воспитанники носили шляпу с пером и офицерский мундир с шитьем, только без эполетов; произведённые же в офицеры прапорщики, подпоручики, надев эполеты, продолжали оставаться в институте до поручичьего чина. В нём сперва было четыре только профессора или преподавателя наук. Ими ссудил нас Наполеон, прислав Александру четырех лучших учеников Политехнической школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема. Это было, как изволите видеть, совершенно французское училище. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были все молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремесленников, садовников, машинистов, портных и тому подобных; одним словом, всё то, что управляющим пришельцам казалось цветом петербургского юношества. В 1812 году четыре француза объявили, что не могут служить правительству, которое находится в войне с их отечеством, и требовали, чтоб их отпустили: им отвечали ссылакою. < ... > После общего замирения в 1814 году сосланные французы воротились к своим должностям; во все время войны сохраняли они жалованье своё и чины. < ... >

Для заведения новой ассигнационной фабрики куплен был большой дом откупщика Чоблокова на Фонтанке, близ Калинкина моста. Надобно было заказать несколько машин, другие выписать из Англии, да сверх того нужно было растянуть фасад по улице и возвести несколько новых строений внутри двора. < ... >

Счастливо окончив все войны, государь захотел предаться вновь некоторым из прерванных любимых своих мирных занятий. Петербург захотелось ему сделать красивее всех посещённых им столиц Европы. Для того придумал он учредить особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура. Ни законность прав на владение домами, ни прочность строения казенных и частных зданий не должны были входить в число занятий сего комитета: он должен был просто рассматривать проекты новых планов, утверждать их, отвергать или изменять, также заниматься регулированием улиц и площадей, проектированием каналов, мостов и лучшим устройством отдаленных частей города, одним словом, — одною только наружною его красотой. Членами в него назначены инженеры и архитекторы.

Почти в то же время, граф Ламберт, уведомляя меня, что штат комиссии погашения долгов утвержден, и что она скоро имеет быть открыта, требует извещения сохраняю ли я желание быть одним из её директоров, ибо только в противном случае будет он почитать себя в праве располагать местом, на которое есть много просящих. Прежде чем дать ему ответ, я объяснил Бетанкуру, что в настоящем не видя ничего положительного твердого, я не могу отказаться от места почётного, спокойного и выгодного. Он отвечал мне, что новому комитету, который скоро должен будет открыть свои заседания, нужны канцелярия и чертежная, что он поручает мне составить первую и штат для обеих, что себе как правителю этой канцелярии могу я назначить жалованья сколько мне угодно, что он всё это поднесёт императору, и знает наперед, что всё будет утверждено. Он советовал мне не быть слишком скромным, также не забыть достаточной суммы для найма квартиры комитету, в которой и я мог бы иметь удобное помещение.

Я расчёл, что этот комитет не что иное, как забава, что, по-видимому, дела будет в нём немного, и что в небольшом участке, службою мне отмежёванном, буду я полный господин. К тому же я всегда был немного суеверен: рескрипт на имя Бетанкура об учреждении комитета был подписан государем 3-го мая, день именин и рождения моей матери, и я видел в этом счастливое для себя предзнаменование. Итак, я поехал к Ламберту благодарить его за двойные обо мне попечения, и объявить

что от добра добра не ищут, и что я остаюсь доволен тем положением, в которое по его же рекомендации я поставлен.

Без этого проклятого комитета сколько бы провел я спокойных годов! Винить мне некого, кроме самого себя. Другие свои промахи и неудачи всегда любают взваливать на людей и на обстоятельство: этому всеобщему пороку по крайней мере не был я подвержен. Но как избежать своего предопределения? У меня видно на роду было написано увидеть вблизи все состояния: неужели для того чтоб изобразить их в сих записках?.. < ... >

Всё прежнее поколение архитекторов, которые в конце Екатеринина века, при Павле и в начале царствования Александра украшали Петербург: Гваренги, Захаров, Старов, Воронихин, Бренна, Камерон, Томон, отошли в вечность, иные, не достигнув ещё старости; оставался один только Руско, и тот за ними скоро последовал. Возникли новые строительные знаменитости, которые, по мнению знатоков, в искусстве далеко от первых отстали. Из них четверо посажены членами в Комитет для строений и гидравлических работ, как я самовольно его назвал. Если не портреты с них, то по крайней мере абрисы, кроки<sup>7</sup> хочется мне снять.

Старший по чину и первый по вкусу и таланту между ними был Карл Иванович Росси, иностранец, родившийся в России. Всякий знал родительницу его, некогда первую танцовщицу на петербургском театре. < ... >

Для Росси такой сценической знатности было мало: он пожелал быть артистом ещё более благородного разряда. Следуя внутреннему призванию, он сделался архитектором и на сем избранном им пути нажил деньги, получил чины и кресты. Судьба, однако же, не вдруг отделила его от родины, от места, где он начал жить и возрастать. Первым произведением его искусства был прекрасный деревянный театр в Москве на Арбатской площади, который сгорел в большом пожаре 1812 года. Он был еще красив и молод, когда его отправили в Москву... < ... > Когда он воротился в Петербург, друзья с трудом могли его узнать: до того изменился он в лице, до того истощен был он наслаждениями, может быть, душевными. Никогда силы к нему не возвращались; но сие было тем полезнее для его гения; при изнеможении телесном замечено, что почти всегда изощряется воображение. Взамен здоровья, которого лишился он в барских домах, приобрел он большой навык в светском обхождении. Он был приветлив, любезен, и с ним приятно было иметь дело.

Зато, первый после него, Василий Петрович Стасов<sup>8</sup> был совершенным его контрастом. Он, кажется, был человек не злой, но всегда угрюмый, как будто недовольный. Суровость его, которая едва смягчалась в сношениях с начальством, была следствием, как мне сдается, чрезмерного и неудовлетворённого самолюбия. Он хотел быть законодательною властью комитета и всё предагал правила, правда, стеснительные для владельцев, зато весьма полезные в рассуждении предосторожности от пожаров.

Третий член, Андрей Алексеевич Михайлов, был настоящий добряк; другого названия ему дать не умею. Маленький, веселый, простой этот человек был воспитан в Академии художеств, и никогда потом с нею не расставался ни в звании академика, ни в звании профессора. Он никак не гнался за гениальностью, ничего не умел выдумывать, следовал рабски за славными образцами, но, подражая им, умел, однако же, из произведений их выбирать всегда лучшее.

Все трое были зодчие домашнего изделия; один только четвертый был иноземный, хотя и не выписной. Прежде чем приехал он в Россию, г. Антоан Модюи посетил развалины Греции; в их священном прахе ис-

7 Кроки (фр. croquet) – наскоро набросанный рисунок, очерк, окоёмок, набросок чертежа (Ред.).

8 В.П. Стасов (1769-1848) – академик, архитектор, по проекту которого возведены здания в С-Петербурге (Ред.).

кал он артистических вдохновений и, как мне казалось, мало привез их к нам с собою. Как об архитекторе, о нем говорить почти нечего; но пребывание многоречивого парижанина в классической земле Эсхила и Демосфена усилило в нём дар красноречия, и он сделался оратором нашего комитета. Скоро открыл я в нём новый талант: подобно Перро, он был и стихотворец. < ... > Он был нрава совсем невесёлого, но вообще был добрый мальчик, и как француз, болтаив и легкомыслен.

Более или менее все эти великие наши строители принадлежали к старой школе. Для них Витрувий был то же, что Аристотель для литераторов и особенно для драматических писателей. Как последние три единства на сцене почитали непреложным для себя законом, так первые вне четырёх ордеров, дорического, ионического, тосканского и Коринфского, видели беззаконие, нарушение священнейших обязанностей, и композитный ордер едва только допускали в своих планах. Французская революция всё ниспровергла, почти всё поставила вверх дном; но, во дни владычества ужасных и смешных подражателей древней Греции и Рима, классицизм в художествах, в науках, во всём устоял и даже ещё более усилился. В императоре Александре был вкус артиста, но в то же время пристрастие военного начальника к точности размеров, к правильности линий; и дабы регулярному Петербургу дать еще более однообразия, утомительного для глаз, учредил он этот комитет. Члены добросовестно выполняли его намерения; план всякого новостроящегося домика на Песках или на Петербургской стороне, представленный их рассмотрению, подвергался строгим правилам архитектуры. Один только Бетанкур вздыхал, видя невозможность в этом случае не сообразоваться с волею царя. Мальчиком любовался он прелестями Аламбры и фантастическими украшениями мавританских зданий в Севилье и всегда оставался поборником кудрявой пестроты. < ... >

Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро нашел я у Бетанкура белобрысого французика, лет тридцати не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нём, кто он таков? «Право, не знаю, – отвечал Бетанкур, – какой-то рисовальщик, зовут его Монферран; Брегет просит меня, впрочем, не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?» Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом его, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том, что она содержит в себе? «Да это просто чудо!» – воскликнул я. «Это – работа маленького рисовальщика», – сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Рима: Траянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и так искусно сгруппированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного я никогда не видел. «Не правда ли, – сказал мне Бетанкур, – что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» – «Да как с этим быть?» – отвечал я. «Вот что мне пришло в голову, – сказал он, – мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре». Он предложил это министру финансов Гурьеву, управляющему в то же время и кабинетом, в ведении коего находился завод. Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев давал только две тысячи пятьсот: оттого дело и разошлось. Между тем он всё становился со мною любезнее, до того, что я решился посетить его и мадам Монферран, почти на чердаке, в



небольшой комнате, в которую надобно было проходить через швальню портного Люилье. Он же делал для меня прекрасные маленькие рисунки, из которых, к сожалению, я ни одного у себя не оставил, а все раздарил в альбомы знакомым дамам. За то я и затевал для него выгодное место, которым должен был он остаться доволен. < ... >

Должность начальника чертежной берег я для Монферрана и чрезвычайно удивился, когда на сделанное мною о том предложение, от Бетанкура получил отказ. «Он для такой должности ещё слишком молод», – отвечал он. Я, однако же, не отступил и выторговал ему, по крайней мере, название старшего чертёжника, правда, без жалования, но с квартирою и с суммою, равною жалованию, в виде награждения или пособия ему, от комитета выдаваемою. Я должен был объяснить это Монферрану, который всё с благодарностью готов был принять, как будто предвидя, что всё это скоро должно перемениться. < ... >

Не выходя из скромной роли своей, Монферран между тем тайком трудился над чем-то важным. На словах государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора так, чтобы, сохраняя всё прежнее здание, разве с небольшою только прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику. Бетанкуру пришло в голову для пробы занять этим Монферрана, выдав ему план церкви и все архитектурные книги из институтской библиотечки. Что же он сделал? Выбирая всё лучшее, усердно принялся списывать находящиеся в них изображения храмов, принаравливая их к величине и пропорциям нашего Исаакиевского собора. Таким образом составил он разом двадцать четыре проекта, или, лучше сказать, начертил двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут всё можно было найти: китайский, индийский, готический вкус, византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новейших памятников.

В это время начались ежегодные, продолжительные, непрерывные путешествия государя внутри России. Не знаю, до какой степени знакомили они его с духом его народа и выгодами его государства. По возвращении его, в глухую осень, из первого такого путешествия Бетанкур представил ему монферрановский альбом, прося один из рисунков удостоить своим выбором: верный вкус его величества будет служить потом руководством для исполнителей его воли. Нельзя было не восхититься искусством рисовальщика, и государь на время оставил у себя альбом.

На другой день Бетанкур, с каким-то таинственным видом, позвал меня к себе в кабинет и наедине вполголоса сказал мне:

– Напишите указ придворной конторе об определении Монферрана императорским архитектором, с тремя тысячами рублей ассигнациями жалования из сумм кабинета.

Я изумился и не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Да какой же он архитектор? Он от роду ничего не строил, и вы сами едва признаете его чертёжником.

– Ну, ну, – отвечал он, – так и быть; пожалуйста, помолчите о том и напишите указ.

Я собственноручно написал его, а государь подписал. < ... >

Дабы кончить рассказ о решительном устройстве пресловутого комитета, необходимо должен я выступить за пределы 1816 года: в январе 1817 нанял я для него равно как и для себя удобную и поместительную квартиру, в доме Шмидта, у Семеновского моста, на углу Фонтанки и Апраксинского переулка. Поселившись в этом приюте, который, по предчувствиям моим, столько лет должен был я занимать, и который, не превышая скудные средства мои, как мог старался я лучше прибрать, ощутил я необычайную отраду. Мне уже исполнилось тридцать лет, и тщетно усиливался я дотоле найти постоянное место и прочную службу; везде встречал неудачи; оттого-то самая жизнь моя в Петербурге была

всегда кочевая; с одной небольшой квартирке часто переезжал я на другую малую. Тут было нечто похожее на осёдлость, и это единственный дом, мимо которого и доселе не могу я равнодушно пройти или проехать. Мне сожительствовавал Монферран, и соседством его я оставался доволен.

.....

Уже более недели находился я в Русском царстве; радость моя уже истощилась на границе; при въезде в него и после кратковременного отсутствия, увидел я Петербург довольно равнодушно, как будто воротился в него из Пензы. Он показался мне печален и тих в сравнении с Парижем. < ... >

...Вообще более полугода пошатавшись по свету приятно быть у себя. В людях хорошо, а дома лучше, говорит пословица, я думаю, западным народам неизвестная.

Моим начальником был я принят, могу сказать, с радостью: он простёр деликатность до того, что сам предложил мне несколько дней отдохнуть и погулять. Во время отсутствия моего по нашей части произошла важная перемена. Престарелому графу Сергею Кузмичу Вязмитинову было не под силу в одно время управлять министерством полиции и заведывать столицей. Согласно с его желанием, сохраняя министерство, он уволен от должности петербургского военного генерал-губернатора, и на его место назначен граф Михаил Андреевич Милорадович. Будучи старее чином Бетанкура, он почитал и имел право почитать себя его начальником. Это можно было заметить из письменных отношений; но как Милорадович в делах ничего не смыслил, то повелительный тон принял новый правитель канцелярии его, Николай Иванович Хмельницкий. Добрый Ноден без меня всепокорнейше принимал эти приказания, и мне после немалого труда стоило сколько-нибудь уравновесить сношения наши с этою канцелярией. Со своей стороны Бетанкур неохотно бы вошел в состязание с таким известным смельчаком, каков был Милорадович; я, однако же, объяснил ему, что если так пойдёт, по неопределенности прав наших, то легко можем мы попасть в разряд уездных мест, что гораздо после и случилось. Вследствие чего Бетанкур имел объяснение с Милорадовичем, один на своём гишпано-французском, а другой на чухоно-французском языке, которым забавлял он двор и публику: а как первый был человек умный и тонкий, то дело и поладилось. < ... >

...В марте месяце по службе Бетанкура последовала для него большая перемена. Инженер-генерал Франц Павлович де-Волян, главный директор путей сообщения, преемник принца Георгия Ольденбургского, первого мужа Екатерины Павловны, умер, и государь для этой важной должности на его место выбрал моего начальника. Я этому очень обрадовался, а между тем не мог понять, как человек, который ни слова не знает по-русски, будет в России управлять министерством. Когда узнав о том, на другой день поутру пришел я поздравить его, он с притворно-печальным видом отвечал мне: «Что делать! Государь непременно того требовал». Тщетно говорил я ему о великих затруднениях, которые представляются при исполнении, возлагаемой на меня обязанности; он отвечал, что «если бы дела и пошли не так успешно как он желает, хотя он ожидает противного, то его будет вина, ибо он насильно заставил его принять должность. – Потом прибавил он – Скорее должны вы себя поздравить, чем меня: новое назначение моё открывает вам дорогу к возвышению». Через несколько дней объявил он мне, что имеет на меня виды и хочет меня представить к занятию должности директора департамента путей сообщения, на место хворого старика, с которым он не может объясняться, потому что тот не знает по-французски, но что наперёд хочет он оглядеться и не вдруг приступить к переменам. Я заметил ему, что при необъятном числе бумаг по вверенной ему части, вступающих и исходящих, даже с удвоенным штатом, не будет возможности сохранить

порядок, которому дотоле мы следовали, и что в Петербурге не сыщется и половины людей в состоянии переводить для него и переписывать по-французски. «Уж это я знаю, – отвечал он мне, – и для того-то и нужен мне человек, от которого представляемые бумаги мог бы я слепо подпisyвать».

Должность директора департамента занимал бывший мой начальник в министерстве внутренних дел, Дмитрий Семенович Серебряков, с 1810 года, при принце Ольденбургском, преемник Лубяновского, тогда уже в Аннинской ленте, человек кроткий, честный и деловой. Его-то Бетанкур хотел сбить с рук. Удручённый летами, при перемене обстоятельств, он сам желал успокоения. < ... >

В главном управлении путей сообщения все видели во мне будущую главную пружину его. Не было любезностей, не было учтивостей, коих бы мне не оказывали инженеры: генералы Саблуков, Карбоньер, Вельяшев сами первые посетили меня. А между тем я не почитал себя в праве входить явно в какие-либо дела этого управления; главные должностные гражданские лица всемерно уклонялись от сообщения мне сведений, и я мог только стороной собирать их. Наконец, я решился на этот счёт объяснитьсь с Бетанкуром. Я представил ему, что не ознакомившись наперёд с делами департамента, который он намерен был вверить мне, я буду плохим его директором. Он отвечал мне, что спешить ещё не к чему до возвращения из одного путешествия, которое вместе с ним я должен совершить. «К тому же, – прибавил он, – с быстротою, с какою понимаете вы всякое дело, вам не трудно будет скоро сладить и с этим». Он не имел никакой, нужды льстить мне, и я никаким скромным опровержением не отвечал ему. Вообще же я привык видеть, что как в Италии импровизируют стихи, так у нас в России импровизируют способных ко всему людей. Ещё заметил я Бетанкуру, что чин мой мал для места, которое занимали дотоле одни превосходительные. На это отвечал он мне, что вместе с должностию испросит он мне у государя и чин статского советника, без всякого университетского аттестата. Всё шло для меня как нельзя лучше.

Ещё в 1816 году отставной канцлер, граф Румянцев, путешествуя по России, посетил и Макарьевскую ярмарку. Она привлекла на себя особое внимание человека, бывшего столько лет министром коммерции. Он нашёл, что весьма было бы выгодно по близости перенести её из Макарьева в Нижний Новгород и тем поддержать, украсить и поднять последний, который во мнении многих людей почитается настоящим средоточием России, долженствующим быть и столицей её. Со всем уважением к памяти государственного мужа нахожу я, что он ошибался. Положение Нижнего Новгорода совсем не центральное. Если в измерении пространства России не отделять от неё сибирского края, тогда середина её будет, по крайней мере, за Уралом. Если же принять в соображение одну населённую часть её от Уральского хребта до Калиша, тогда, прилегая более к северо-восточным её странам, Нижний Новгород слишком удалён от западных границ Империи. Находясь на берегу двух величайших, судоходнейших рек, он с умножением народонаселения и промышленности, сам собою мог бы сделаться одним из важнейших пунктов в государстве. Перенесение в него ярмарки один только месяц в году могло оживить его. Без всякой помощи от правительства, безо всякого участия его, самым естественным образом ярмарку сию породили взаимные потребности народов, населяющих Россию и отдалённые азиатские страны. Она возросла как бы под благословением Св. Макария, вокруг обители им основанной. Многочисленное стечение богомольцев в обычный срок встречалось тут ежегодно с проезжающими караванами. Набожность, везде сочувствующая русскому народу, указала ему тут и на торговые его выгоды. Начало прекрасное, коего последствием было самое блистательное, широкое развитие нашей торговли. Замечания свои граф Румянцев представил государю, который принял их в уважение.

Дабы удостовериться в пользе предлагаемого канцлером, в июле 1817 года Бетанкур отправлен был в Нижегородскую губернию. Ему поручено было, обозрев местности, избрать удобнейшую и выгоднейшую для учреждения нового прочного ярмарочного гостиного двора, и донести, в случае построения новых каменных лавок, доходы с них будут ли достаточны чтобы заменить казне проценты с капитала, употребленного на их сооружение. Новое доказательство пристрастия и неограниченной доверенности, которыми пользовались тогда иностранцы. Бетанкур менее чем кто мог тогда судить о выгодах и невыгодах наших торговых и финансовых дел: это было первое путешествие, которое он делал внутри России, которую дотоле он вовсе не знал, не видав даже Москвы. Никакой важности не видел он в том, чтобы вырвав с корнем самую природой произведенное растение, посадить его на другой почве, не заботясь о том, будет ли оно процветать на ней или нет. Эти господа знать не хотят, что у так называемых варваров и рабов есть поверия, навыки, коих изменения никогда не совершаются без сердечной для них боли. Бетанкуру представился прекрасный случай выказать всё искусство своё, как инженеру, архитектору, механику, и в самом широком объёме: как было ему не воспользоваться оным? В виду Нижнего Новгорода, за Окой, близ втока её в Волгу, на луговой её стороне, каждую весну потопляемой разлитием двух великих рек, избрал он место для сооружения себе памятника. Тут надлежало с большими издержками для казны победить препятствия, поставляемые природой. Надлежало, в виде полукруглого острова, сделать высокую насыпь, которую вешние воды не могли бы затоплять, прорыть вокруг неё судоходный канал, соединяющей речку Пыру с Окой, и возводимые каменные строения, все без изъятия, утвердить на бесчисленных сваях. Мне случалось впоследствии слышать льстецов, которые в разговорах с Бетанкуром это гигантское произведение его гения называли египетскою работою и сравнивали его с ископанным озером Мёриса и пирамидой Хеопса. Он со своей стороны почитал эту лесть слишком грубою, и отвергал её с досадою.

По возвращении лично и словесно докладывал он государю о своих предположениях. Не знаю, какую уловку употребил он, чтобы не испугать его огромностью сумм на то потребных. Государь не жалел денег на всё, по мнению его, полезное, но даром бросать их не любил. Я полагаю, что сперва не открыл он ему всей истины, не объяснил сколько миллионов потребуется, ибо представленная им вслед затем смета была довольно скромная. Раз втянувши казну в это предприятие, ему легко было после доказывать необходимость беспрестанных прибавок.

В ту же осень дело вскипело вдруг; отправлены инженеры для снятия планов, приискания подрядчиков, объявления торгов, заключения контрактов; у нас же в Петербурге завелась обширная переписка, что чрезвычайно умножило мои занятия и труды. Весной в следующем 1818 году, ярмарочные деревянные строения перенесены уже были из Макарьева на плоское место, находящееся рядом с тем, на котором предполагалось соорудить прочные здания; летом в сих временных помещениях открыт был уже и торг. Ропот был велик: монастырь Св. Макария лишился богатых приношений, жители окрестных мест почитали себя разорёнными, азиатские торговцы жаловались на то, что должны понапрасну делать лишних восемьдесят верст сухим путём, хозяева судов на то, что принуждены более ста верст подниматься вверх по Волге; вообще, ярмарка с этого времени потеряла свою оригинальную, азиатскую физиономию. Бетанкур, который провел там всё лето, пока я был в Париже, остался довольно равнодушен к сим жалобам; однако же, дабы сколько-нибудь утешить вопиющих, обещал на новом месте построить славную каменную церковь во имя Св. Макария: лишняя сотня тысяч рублей ему ничего не стоила. Несмотря на новое, важное назначение своё, он намеревался провести в Нижнем Новгороде и лето

1819 года, и пригласил меня с собою. Итак, в апреле месяце начал я готовиться к новому пути, не столь длинному как в предыдущем году.

Когда в 1815 году жил я на Крестовском острове, в первый раз с некоторым вниманием услышал я о пароходах. Сосед мой, граф Виельгорский, предлагал мне ехать с ним и с большою компаниею на чугунный завод англичанина Берда, чтобы подивиться сей новорожденной у нас невидальщине, не помню, что помешало мне воспользоваться его приглашением. Дотоле слушал я о том довольно рассеянно, как об одном из многочисленных американских или английских затейливых изобретений. Берду от правительства дана была привилегия, и его пироскаф<sup>9</sup> исправно с тех пор ходил с Матисова острова в Кронштадт, иногда на показ народу являлся он и на Неве: мне ни разу не пришлось посмотреть на него.

В первый раз случилось мне видеть не его, а на нём самого себя. Бетанкур собирался отправиться водою, так чтобы наши экипажи, не отдаляясь от берега, следовали за нами сухим путем. Берд, который почитал себя много обязанным Бетанкуру, за то, что тот все казенные работы заказывал на его заводе, предложил прокатить нас даром по Неве, до самого истока её из Ладожского озера. Отъезд назначен был 14-го мая, в семь часов утра, и пароход, ночью прошед по реке во время снятия мостов, причалил к набережной близ Гагаринской пристани. Я проспал, опоздал несколькими минутами, меня одного нетерпеливо дожидались, и едва успел я перебежать по доске, как труба задымилась, и колеса зашумели.

Я очутился на палубе среди многочисленного общества. Семейство Бетанкура состояло из жены его и трех дочерей; также два испанца, принадлежавших к посольству, провожали его до Шлиссельбурга. Семейство Берда находилось на пароходе, чтобы хозяйничать и угощать путешествующих. С нами отправлялась до Нижнего: единственный сын Бетанкура, Альфонс, пятнадцатилетний беленький мальчик, недавно прибывший из Англии, где по воле отца он воспитывался; при нём наставник, немец Рейф; старый адъютант Бетанкура, Маничаров, недавно оставивший должность эконома института; молодой адъютант Варенцов и, наконец, секретарь Ранд. Сверх того, сопутствовал нам до вверенного ему округа инженер, генерал-майор Александр Александрович Саблуков. О некоторых из сих лиц я буду иметь случай говорить во время нашего путешествия.

Этот первый день странствования нашего походил на весёлый праздник. Погода была прекрасная, виды по Неве были приятные и занимательные, берега её усеяны дачами, фабриками и деревнями, из коих жители высыпали толпами, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем, большим, дымящимся судном, быстро поднимающимся по реке без парусов и вёсел. Целый день пили и ели, все были разговорчивы, все смеялись, даже скромные девицы-дочери Бетанкура. Вероятно, вследствие многократных тостов во время позднего обеда возносимых, почувствовал я сильную дремоту; она одолела меня, я спустился в каюту, заснул и проснулся, когда уже солнце готово было садиться. Меня все одобрили и поздравляли, ибо во время сна моего, по неопытности рулевого, в первый раз тут проезжающего, судно село на мель, и более двух часов билось, чтобы тронуть его с места. Хорошо если б и всегда можно было просыпать так горе, и узнавать о нём только тогда, когда оно уже миновалось. От этой остановки мы опоздали, и приехали в Шлиссельбург, когда уже совсем смерклось.

У начальствовавшего тут по инженерной части полковника, Ивана Дмитриевича Попова, в казённом обширном деревянном доме, приготовлен был обильный обед или ужин, трудно сказать и нельзя назвать

того, до чего никто не коснулся. Все были чрез меру сыты, все устали, и всем хотелось спать. И по этой части добрый хозяин позаботился; во всех комнатах стояло по две и по три кровати, но и это кроме меня никого не прельстило. Не более получаса пробыло тут общество наше: Бетанкур с семейством и гостями отправился на богатую, частную, ситцевую фабрику (имя владельца её у меня ускользнуло из памяти), где ожидало их гораздо удобнеее помещение; вся свита пошла обратно к Берду на пароход, и я остался один. В уединении сон мне всегда казался слаще; к тому же, мне хотелось, чтобы не совсем пропали труды почтенного старика Попова, которого вид казался смущенным и недовольным. Он отвёл мне постель, приготовленную для самой Бетанкурши.

Едва успел я, на следующее утро, расстаться с мягким ложем своим, как дом, в котором ночевал, сделался опять сборным местом для всех наших спутников. Под предводительством нашего начальника все мы отправились на берег Ладожского озера, куда перебрался Бердов пароход. Чтоб утешить бедного Попова, ему дано обещание воротиться к нему завтракать. Целую компанию подъехали мы к крепости, где ожидал с рапортом комендант, которого пригласили прокатиться с нами по Ладожскому озеру. Это был генерал-майор Григорий Васильевич Плуталов, почти осмидесятилетний старец, маленький, сухощавый, но ещё дюжий и бодрый. Выходец из старой Екатерининской армии, сохранившийся образчик её, он пользовался привилегией, прищучивая с высшими, говорить им истину. Однажды, при императоре Павле он решительно отказался быть суровым с насылаемыми к нему во множестве всякого звания арестантами. «Государь, сказал он, делайте из меня, что вам угодно, только я страж их, а не палач». Тронутый такою человеколюбивою смелостью, император бросился обнимать его.

Весёлый этот старик, ступив на пароход, не подал Бетанкуру рапорта, а объявил, что он почитает себя похищенным, и нас подозревает в злом умысле овладеть крепостью, когда мы похитили её начальника. Потом попросил о дозволении поздороваться с находящимися тут дамами – гишпанками, англичанками и другими, и ещё не получив его, и не дав им опомниться, пошёл их всех обнимать и целовать в уста. Я спешил уверить их будто, по нашему прежнему обычаю, это неотъемлемое право глубокой старости, и от удивления и досады они перешли к смеху. Этот человек мало заботился о том, что скажут о нём Европа и европейцы. Потом около часу покатались мы по бурным волнам Ладожского озера, в первый раз рассекаемым судном нового изобретения. Пристав к крепости, которая, как известно, находится на острове, мы вышли на берег и тут только Плуталов, вынув рапорт, почтительно подал его старшему генералу. Не знаю был ли он холост или вдов, только женского пола в его квартире мы не видали, а на накрытом столе нашли завтрак или скорее закуску, от которой мало вкусили, ибо берегли себя для Попова. Ускользнув от закуски, в сопровождении какого-то офицера, бау<sup>10</sup> или плац-адъютанта, я обошёл крепостной вал.

Усердным аппетитом оказав должное уважение сытному обеду доброго Ивана Дмитриевича, и потешив тем русское хлебосолиество его, мы начали собираться в дальнейший путь. Прощанье Бетанкура с женой и дочерью было нежно, даже трогательно. Они с гостями поспешили обратно на пароход, а мы – на щеголеватую и довольно богато отделанное судно для покойной великой княгини Екатерины Павловны, под названием трешкоута. На Ладожском канале, по которому мы плыли, все суда на левой стороне выстроены были в один ряд, дабы дать свободный проезд царю каналов. На судне нашем под палубой была одна только длинная и широкая каюта, вокруг которой находились диваны не весьма покойные. Я расчел, что, не раздеваясь, вповалку, спать на них будет мне весьма неудобно и даже невозможно. И для того, когда сделав верст

10 Бауадъютант – офицер, которому назначен надзор за казёнными зданиями, мостами и пр. (Ред.).

тридцать, в сумерки остановились мы у станции Шалдихи, где нашли свои экипажи, я доложил Бетанкуру, что буду дожидаться его прибытия и приказаний в Новой Ладоге, и распростился с честною компаниею. Я хорошо сделал: около двух недель стояла сухая погода, и дороги были в хорошем состоянии. Майская ночь коротка на севере, и в приятных размышлениях на свежем воздухе я не видел как она и я – мы пролетели. Когда я остановился более для днёвки, чем для ночлега, чуть-чуть стал показываться свет. Его было не нужно: второстепенный уездный город, в который я приехал, ничем не отличался от других равных ему, и смотреть было не на что. В квартире, приготовленной для Бетанкура, я объявил, чтоб его не ожидали, а сам лег в его постель.

Я преспокойно проспал до полудня: обед был готов, и я совсем одет, когда Бетанкур со свитой прибыл в Новую Ладугу, где я встретил его. После обеда, он занялся немного делом, а потом очень весело опять пустился водой вверх по речкам Сяси и Тихвинки. Я же опять предпочёл ехать сухим путём, и в следующие ночь и утро для меня повторилось то, что было накануне. Проснувшись поздно, я пошёл смотреть на город Тихвин, не весьма замечательный, и зашёл в монастырь Тихвинской Богоматери, помолиться её чудотворной иконе. Мне показали и ризницу, довольно богатую, коей главным украшением служит золотая лампада с бриллиантовою подвеской, оцененной в шестьдесят тысяч рублей и принесенной в дар графом Шереметевым. Я спешил домой, чтоб успеть встретить своего старика-генерала, но тщетно прождал его второй и третий час пополудни, по-тогдашнему, – всё ещё законные обеденные часы. Беспокойство, нетерпение и аппетит доходили во мне до крайности, когда в конце четвертого часа увидел я трупку моих спутников, изнеможённых, изнурённых, измученных; Бетанкур был в самом дурном расположении духа. Так же как и другие, он принуждён был спать на соломе в простой, хотя крытой но беспокойной барке. Неизвестно было, что он поедет водой, и ничего не было приготовлено. Подымаясь по речкам, он тащился бичевником<sup>11</sup>, и лошади с крутых берегов беспрестанно обрывались: нетерпеливый старик был в бешенстве. После обеда, его поваром, по моему заказу, приготовленного, он стал спокойнее, веселее, но объявил, однако же, что остаётся ночевать в Тихвине.

Следующий день, 19-е число, был уже и для меня мучительным днём. Надлежало сделать 90 верст до Соминской пристани. На этом расстоянии находится канал с 38 шлюзами, часто отворяемыми и запираемыми, чрез кои баркам приходится иногда недели две проходить. Мы поехали по дороге, которая лежит близ канала и которая, конечно, самая скверная в России. Она никогда не поправляется, а болота и пески, кочки и древесные корни беспрестанно встречаются в частом лесу, через который надобно проезжать. Говорят, что исправить эту дорогу очень трудно и будет стоить очень дорого. Как бы ни было, с раннего утра до поздней ночи тащились мы по ней до Сомины. Мы нередко останавливались, для того чтобы Бетанкуру осматривать шлюзы, и обедали у смотрителя их, нас сопровождавшего, инженер-подполковника Ивана Ивановича Цвиллинга, сухого, прямого и молчаливого немца.

Три судна неодинаковой величины были куплены на казённый счет, чтобы по течению рек везти нас до самого Нижнего Новгорода, и они дожидались нас в Соминской пристани. Самое большое, разумеется, назначено было для главного директора путей сообщения, и он поместился в нём с двумя адъютантами, с сыном своим и его учителем Рейфом. Другое, поменее, досталось нам с г. Рандом, и мы не имели причины быть им недовольными; в чистенькой каюте, довольно просторной, были широкие лавки, на которых очень хорошо уместились наши постели. В третьем судне находились экипажи, прислуга, кухня и некоторые необходимые на этом пути съестные припасы. Вешние воды не совсем ещё

11 Бичевник – береговая полоса в 10 сажень ширины, вдоль судоходных рек, которая должна оставаться свободной для всех нужд судоходства (Ред).

спали, и мы 20 числа могли беспрепятственно плыть вниз по речке Со-мине, которая летом не бывает столь глубока. В тот же вечер достигли мы её устья и въехали в речку или скорее реку Чагодоць или Чагоду, как её просто называют.

Хотя мы были в весьма недалёком расстоянии от обеих столиц, но могли почитать себя среди необитаемой части Северной Америки. Надобно полагать, что в этих местах земля неудобна для хлебопашества, ибо нам почти не попадались деревни в пустом лесу, который непрерывно тянется по обеим берегам Чагоды. По низости их она могла бы почитаться большим каналом, если бы ширина её, глубина и частые изгибы не давали ей вид реки. Во всякой европейской стране она была бы препрославленна; у нас считается она третьеклассною, и в обществе редко сыщется человек, довольно сведущий в статистике русского государства, чтобы знать её имя: а она связывает низовые губернии и Астрахань с Петербургом, то есть Каспийское море с Балтийским. Вокруг нас царствовала мертвая тишина, и изредка показывалось человеческое лицо; за то следы человечества встречались на расстоянии каждых пяти или шести верст. Большие постоялые дворы, никем не занятые, с забытыми окнами, появлением своим пуше наводили тоску: казалось, что вымерли все жители этой страны, а она должна была недели через три на всё лето чудесно оживиться. Когда приплывают низовые караваны, то хозяева сих летних гостиниц наезжают в них из ближайших деревень и получают большие барыши от судовщиков, которые, останавливаясь тут, запасаются съестным, а иногда и пируют, бражничают. Несмотря на торжественность нашего плаванья, мы по части продовольствия уже в первый день испытали недостаток: нам угрожал голод, и мы начали чувствовать его ужасы. Хозяйственная часть поручена была доброму Маничарову, который с тех пор как начал жить на своей воле, не знал, что такое дома обедать: вечно в гостях, в клубах или в трактире. В беспечности своей он не подумал о том, чем мы будем кормиться дорогой. Бетанкур вознегодовал, возроптал. Не я, а тощий желудок мой во всеуслышание заговорил голосом сильным и трогательным; тогда Бетанкур попросил меня вступить в это дело. Маничаров хотел было рассердиться, но никак не мог, обрадовавшись случаю, избавиться от забот по провиантской части. Я потребовал, чтобы, поблизости первой зажиточной деревни, где-нибудь часа на два пристали мы к берегу, и отправил для закупок комитетского сторожа, ещё не старого и проворного, которого по просьбе его взял с собою для свидания с родными. Не более как через час третьё судно наше обратилось в птичий двор: явились живые куры, гуси, утки, даже индейки, и всё, что нужно для их прокормления. Все дивились моей расторопности, а я, со скромностию отклоняя похвалы, относил их к проворству рядового Латухина. Коль скоро изобилие воротилось к нам, наше плавание сделалось отменно приятным. Каждое утро часу в девятом садились мы с Рандом на сопровождавшие нас лодки и отправлялись пить чай к своему начальнику. Потом возвращались мы домой, на своё судно, раздевались и принимались за чтение, пока обеденный час не заставит нас предпринять новую поездку. После обеда беседа делалась продолжительнее и веселее. Мы шли на веслах быстрым ходом вниз по реке, чувствовали движение судна, быстрое и вместе покойное, но видно и приятное утомляет. К вечеру нас тянуло на твердую землю; где попадетя несколько открытое место среди леса, мы выходили на него и на воздухе чайничали, пока сын Бетанкура, бойкий и смелый мальчик, с учителем своим Рейфом, углублялся в чащу и стрелял дичь. Когда смеркнется, мы спешим опять на воду и ну, спать.

Впрочем, всё это продолжалось не более двух или трех дней. Когда мы приблизились к месту, где Чагода впадает в Мологу, сопутствующий нам от самого Петербурга инженер, генерал-майор Саблуков, пригласил своего и нашего начальника посетить его имение, верстах в шести от



берега находящееся. Название этого поместья я не забыл, потому что забыл о нём спросить и никогда не знал. О самом же владельце я уже два раза упоминал да, и в третий не вижу возможности не войти насчет его в некоторые подробности.

Отец его, также как и он, Александр Александрович трудами и умом, употребляя дозволенные средства, с помощью царских щедрот, нажил себе хорошее состояние и достиг довольно высокого сана. В сенате был он правосудным и сведущим членом его, и управлял петербургским воспитательным домом. Двух сыновей своих, по образцу знатных людей, он воспитывал на иностранный манер, и желая сделать из них людей полезных, – более на английский. Меньшой, казалось, удался; он был довольно умён, сведущ; но как со времён Петра Великого слепое, безотчётное подражание всему заграничному и особенно заморскому, почти всегда влечёт вас к разорению, к мотовству или к неудачным предприятиям, то и наш Саблуков бредил всё проектами, приспособлением иностранного земледелия и промышленности к нашему русскому быту. Из камер-юнкеров и дипломатов поступил он в инженеры и очень хорошо управлял вверенною ему частью, вторым округом путей сообщения. Только собственная, хозяйственная часть шла у него плохо. Там, где принимал и угощал он нас, был у него выстроен огромный, каменный, винокуренный завод, коим заправлял англичанин, и который был наполнен дорогими машинами, из Англии выписанными. Лесу было вдоволь; не доставало безделицы – ржи и воды. Первую за дорогую цену покупал он с судов, а последнюю с большими издержками проводил к себе так, что каждое ведро обходилось ему втрое дороже того, за что мог он его продать. Не знаю после того, до какой степени он разорился. Он несколько лет был уже знаком с Бетанкуром, а подчинённость ещё более его сблизила с ним. Это был приятнейший из наших спутников, и когда тут, на границе его округа, он расстался с нами, мы с беседой его много потеряли.

В ту же ночь, с 23-го на 24-е число, из Чагоды въехали мы в реку Мологу, ещё шире и глубже её. Около половины дня начали показываться суда, которые спешили насытить всё пожирающий в России Петербург: число их потом всё более и более стало увеличиваться. Недолго продолжалось плавание наше по Мологе: мимоходом взглянув на городок при её устье носящий имя её, мы увидели Волгу, которая, не совсем ещё вступив в берега, показалась нам ещё более величественною.

На сто русских, которые, плывая по Рейну, действительно или при творно восхищались красотами берегов его, едва ли сыщется один, который в этом месте плавал бы по Волге. И, если эта прекрасная картина и произвела на него какое-нибудь приятное впечатление, он не сообщал о том, почитая пошлостью любоваться, так сказать, домашними прелестями. Мне хотелось бы передать свои ощущения, но я не буду уметь и назову только те предметы, коих встреча тут понравилась бы каждому. Ничего общего с поэзией Рейнских видов, – ни навислых скал, ни гигантских развалин древних замков, ни виноградниками усеянных скатов гор, – не имеет наша матушка-Волга; она красуется совсем иным: левый берег её представляет необозримые зелёные равнины, тучные пажити, засеянные поля; на правом – поднимаются горобразные холмы. На них и под ними теснятся сёла и деревни, среди коих часто белеются Божии храмы. Эти селения так близки друг от друга, что одним взглядом можно их окинуть от шести до семи. Мы нередко приближались к берегу так, что я хорошо мог рассмотреть их. Избы все на один, но на весьма хороший лад, бревенчатые, почти все в два жилья, с разрезными, расписными украшениями на окнах и на кровле: соломенной ни одной не видеть. Из них, особливо к вечеру то и дело высыпают молодые молодухи, красивые девушки, в малиновых, алых, лазоревых сарафанах, отороченных золотыми галунами, иные в серебряных фатах. Лица свежие, полные, умножая красоту одних,

заменяют наряд другим<sup>12</sup>. Потом пристанут к ним нисколько удалых парной, с русыми кудрями, в синих суконных армяках, подпоясанных цветными кушаками, ловко подбоченясь, и в шляпе набекрень. Тотчас узнаешь простолюдина-фата по его добродушному ухарству. Навстречу нам тянулась беспрерывная цепь низового каравана, составленная из судов разной величины и под разными названиями, – расшивов, тихвинок, баркасов и других. Все они против течения реки шли на всех парусах, что и давало им вид бесконечной стаи: особенно же те, кои можно было завидеть в самом отдалении, казались окрылёнными и летучими. Весьма замечательными нашел я работников-бурлаков на них употребляемых, как будто из одних мускулов составленных, усмирённых потомков некогда страшных волжских разбойников. Покорная дерзость и поныне на лице их написана. Я того и глядел, что они вскочат к нам на судно и загремят: «*Сарынь на кичку*<sup>13</sup>». Живая картина, которая была у меня перед глазами, являла вместе и силу, и красоту, и богатство земли Русской. Все с удовольствием смотрели на это зрелище, а я один был в восторге. Русская жизнь выражалась тут так красноречиво, отовсюду ею несло, ею обхватывало меня. Когда же по закате солнца, горы, реки и долины оглашались песнями хороводов, я, право, был не свой. Кто спорит о том, что голос русских крестьянок дик, криклив и вблизи даже отвратителен, но издали, в соединении с мужскими голосами, в тихую летнюю ночь, на открытом воздухе, на большом пространстве, расстилаясь по этой Волге, над которою и для которой сложены были эти простые напевы, они производили чудную гармонию. Её звуки затихали тогда только, когда на востоке загорался свет зари. Тогда только и для меня оканчивалось очарование, и я отходил ко сну.

Отойдем и к прозаической стороне моего путешествия. Не останавливаясь нигде, 25 числа мы рано прибыли в богатый Рыбинск. Десять дней, не видав больших каменных домов, он мне показался великолепен. Я не буду говорить о великом значении этой известной пристани в торговом отношении, о том пусть справятся в статистическом описании России; но оно было очень важно, ибо на несколько часов заставило тут остановиться главного директора путей сообщения. Мы пристали на квартире смотрителя судоходства, надворного советника Николая Фёдоровича Виноградова. Место им занимаемое, видно, было очень доходно, ибо мы в жилище его нашли не только изобилие, но даже роскошь. Не в первый раз и тут пришлось мне одному воспользоваться угощением, приготовленным для моего начальника. Тут находилась пехотная дивизия, которую начальствовал генерал-адъютант Николай Мартемьянович Сипягин, бывший любимец Александра, тогда в немилости у него. Он Бетанкура со свитой пригласил к себе обедать, а до того усерднейше просил мимоходом взглянуть на ученье какого-то полка. К гишпанцу в Петербурге пришла страсть казаться или даже почитать себя военным, и хотя в этом деле смыслил столько же, как и я, пошёл смотреть полк; я же остался с приятною перспективой – после славного обеда развалиться на широком диване. К вечеру мы опять отплыли. Я ещё не спал, когда проехали мы мимо города, или лучше сказать, между двух городков Романова-Борисоглебска.

---

12 Разумеется, в большей части России между крестьянами нельзя найти такого довольства. Отцы, мужа и братья этих женщин живут в Москве и в Петербурге, сидельцами в лавках, половыми в трактирах, другие – извозчиками. Тут на самой проезжей дороге харчевничают они, а в свободное время, без больших затруднений, ловят и продают осетров и стерлядей. Всё народ – промышленный. Жёны их не опаляются летним зноем, рано не отцветают; они не знают утомительной полевой работы, а одну только домашнюю: шьют, ткут, прядут, стряпают, да разве занимаются коровником. Вот почему они скорее принадлежат к разряду мещанок. (Примеч. автора).

13 Ужасное слово, при котором для спасения жизни все должны были падать ниц, дабы, захватившим судно дать время ограбить его. (Примеч. автора).

Мне и утром что-то не спалось; я встал рано, оделся, взошёл на па-лубу и завидел в дали большой город: мне сказали, что это – Ярославль. Когда мы довольно приблизились к нему, чтобы разглядеть на пристани множество народа и чиновников в мундирах, я поспешил к Бетанкуру. Он был ещё в постели; я велел доложить ему, что его ожидает встреча. Я хорошо сделал, потому что едва успел он принарядиться, как мы при-стали к берегу, на котором ожидал его сам губернатор<sup>14</sup>. Пока он водил его сперва к себе, а потом осматривать богоугодные заведения, я пошёл отыскивать знакомого мне в Петербурге Петра Яковлевича Писемского, женатого на родной сестре Блудова, а между тем спросил у своего на-чальника, где могу найти его, пристать к его свите и вместе отпра-виться далее. Находясь среди семейства почтенно-приятного, я заговорился, забылся, опоздал и должен был бежать, чтобы настигнуть своих. Извоз-чиков не было или я их не встретил. На месте мне назначенном в го-родской больнице, подле публичного сада, некогда насаждённого гене-рал-губернатором Мельгуновым, я никого не нашёл. В тщетных поисках своих я избежал весь город, могу сказать, не выдав его. Ещё несколько минут, и нетерпеливый Бетанкур уехал бы без меня: он спешил на обед к любимому адъютанту своему Варенцову, который нам сопутствовал, и у которого в двадцати верстах от Ярославля, близ Волги, на речке Ту-ношне, был собственный ножевой завод.

О сем новом сослуживце мне не приходилось говорить. Он принад-лежал к тем купеческим родам, которые, чрезвычайно разбогатеv, так охотно и легко переходят у нас в дворянское состояние. Некоторые из них, поднявшись в чинах посредством блестящих супружеств, беспре-пятственно приписываются к знатым, как, например, некогда Де-мидовы, а в настоящее время Мальцевы, Гончаровы, Устиновы. Отец Варенцова, простой разбогатеvший фабрикант, нашёл средство двух старших сыновей определить в иностранную коллегию, а меньшого Пе-тра Алексеевича в институт путей сообщения. Сей последний имел уже офицерский чин, когда в 1812 году, следуя общему влечению, посту-пил он в армию, находился в сражениях и получил несколько военных знаков отличия. Потом вышел в отставку, сыскал невесту, равную себе по состоянию, и женился на богатой девице Кусовниковой. Чинолюбие опять заманило его в службу, и он предложил себя адъютантом бывше-му своему инженерному начальнику, а тот, по вышеизъяснённой мною слабости, казаться военным, во внимании к его армейскому мундиру, крестикам и медалям, охотно принял его предложение. Варенцов был угодителен, проворен, и тем ещё более полюбился Бетанкуру. Он не мешался ни в чьи дела по управлению, а в последствии умел себе создать особую часть в виде инспекторской. Завод его находился в самом цвету-щем состоянии, не так как у Саблукова; не было никаких лишних затей ни иностранцев, а между тем он сбирался уже вырабатывать бритвы. Можно себе вообразить, какое угощение было тут приготовлено им для своего начальника и сопровождавших его. Пропиروвав в Туношне поч-ти вплоть до ночи, мы переехали на противоположный берег Волги. Тут нетерпеливый Бетанкур объявил нам о своём намерении оставить нас, сел в коляску, взяв с собою сына, Рейфа и Варенцова, и поскакал по большой дороге.

Мы остались втроем с Маничаровым и Рандом. Вот до чего уменьши-лось сначала столь многочисленное наше общество. Повалившись спать, мы преспокойно поплыли далее. Кому начальствовать над флотилией не было сказано; а так как порядок везде нужен, то я и увидел себя в необ-ходимости при этом случае похитить верховную власть, тем более что от кроткого, беспечного Маничарова не мог я ожидать никакого сопротив-ления, и что Ранд в это время был ко мне отменно снисходителен. В сле-

14 Гаврида Герасимович Политковский, некогда правитель канцелярии мини-стра финансов, графа Васильева, потом директор медицинского департа-мента, губернатор и, наконец, сенатор. (Примеч. автора).

дующее же утро, 27-го мая, мне пришлось на опыте явить моё владычество. Подплывши к Костроме, мои спутники хотели не останавливаясь ехать далее. Тогда я заметил им, что, не быв природными русскими, они, конечно, могут быть равнодушны к великой знаменитости этого города в русской истории, но что я никак не соглашусь упустить сей единственный случай посетить Ипатьевский монастырь. В то же время самовольно распустил я гребцов на полтора часа отдохнуть или погулять по городу. На меня с минуту посмотрели с изумлением, а я, взяв какого-то провожатого, отправился пешком. Не знаю, по какому случаю в монастыре было архиерейское служение, что задержало меня долее, чем я ожидал, и лишило возможности увидеть комнаты, которые занимал с матерью малолетний Михаил Феодорович, когда пришли призывать его на царство. На город, почти вне которого находился монастырь, едва успел я взглянуть: нетерпеливые спутники мои с некоторою уже досадой ожидали моего возвращения, и мы тотчас отправились далее.

Очень рано поутру на другой день, 28-го числа, причалили мы к городу Кинешме. Я лежал ещё в постели и довольствовался сквозь оконце моей каюты (бывшей Бетанкуровской) не вставая поглядеть на шумный базар, находившийся на низком берегу над самую пристанью. Сии последние два дня нашего странствования были отменно приятны; Волга продолжала быть оживляема и многочисленными судами, по ней плывущими, и картиной непрерывных весёлых селений, по берегам её расположенных. Ночью проплыли мы мимо Балахны, и опять на этот городок не удалось мне взглянуть. Наконец, 29-го мая, когда рождающиеся свет едва позволял различать предметы, мы были пробуждены гремучею песнею всех гребцов наших. Между ими есть обычай, при входе в Оку или в которую-либо из больших рек в Волгу впадающих, приветствовать их громогласным, весёлым пением. Не было возможности унять их; мы принуждены были встать, одеться и выйти на палубу. Тогда скоро на горе, в тусклом свете, предстал нам Новгород Низовские земли. Мы пристали к деревянному, двухэтажному, казённому дому, недавно на самому берегу построенному, в котором жил Бетанкур, и тут только, дабы не разбудить его, успел я заставить замолчать певунов наших.

Не буду описывать в этой главе ни города, в который мы приехали, ни пребывания моего в нём. Не прошло трёх недель, как мне пришлось сделать новую поездку. Четыреста верст, отделяющих Нижний Новгород от Пензы, могут почитаться в России расстоянием неважным, даже ничтожным, когда оно отделяет нежного сына от страстной матери, не выдавшей его пять лет. По возвращении из сей поездки в Нижний я при-  
мусь за него.

Не предвидя, какой вред по службе причинят мне впоследствии кратковременная разлука с Бетанкуром и свидание с ней, моя бедная мать убедительно требовала меня к себе. Начальник мой неохотно согласился на сию отлучку, однако же дал мне своего курьера для сопровождения меня во время пути и собственную почтовую коляску для совершения его. < ... >

Наружный вид доброго согласия и спокойствия, который царствовал в это время, и атмосфера упитанная радостью, которою дышал я посреди многочисленного тогда семейства моего, делали пребывание мое в Пензе столь необычайно приятным, что мне желательно было продлить его, по крайней мере, ещё на месяц. Но я опасался огорчить и рассердить начальника моего, и должен был 5 июля оставить сей город, получив от родительницы моей обещание приехать дней через десять со всем семейством навестить меня и посмотреть на Нижегородскую ярмарку.

По возвращении в Нижний Новгород, я нашёл Бетанкура не слишком опечаленным моим отсутствием. При отъезде я сдал дела свои Ранду. Они не имели великой важности, ибо касались единственно ярма-

точного строения, а также раздачи лавок во временном деревянном гостином дворе, которая, не знаю почему, отдана была в наше распоряжение. Будучи мастером докладывать, Ранд заметил, сверх того, что если главное управление путей сообщения почитал тогда Бетанкур великою для себя тягостью, зато ярмарка была любимому его забавой, его игрушкой, посредством которой он может более войти в его доверенность. Он даже всепокорнейше предлагал мне не столь усердно заниматься такою даже пустою частью, а более употреблять его на то. Я однако ж отказался от его сотрудничества, ибо без того, чтобы оставалось мне делать?

Прямо против казённого дома, под горой, в котором мы жили все вместе, наведён был длинный мост через Оку, по которому ездили на ярмарку. Правая сторона плоского места, к которому вёл он, занята была временными деревянными лавками и балаганами; на левой стороне кипели тысячи работающего народа, и быстро поднималась огромная насыпь, недоступная волнам двух великих рек во время их разлива. Важность этой операции доказывается великим числом инженерных штаб<sup>15</sup> и обер-офицеров, в Нижний по сему делу нагнанных.

Подполковник, барон Андрей Карлович Боде, не занимался производством работ: ему поручена была постройка, починка деревянных лавок и размещение в них торговцев. Сестра его, некогда красавица, была в замужестве за испанским консулом Коломби, и великая приятельница с семейством Бетанкура, отчего и он сблизился с главою этого семейства и из артиллерии перешёл недавно в ведомство путей сообщения. Боде был женат на дочери уже умершего лейб-медика барона Моренгейма и сестре известного дипломата сего имени. Тёща и свояченица-дева жили с ним тут вместе, и дом его, с утра до вечера открытый всей нашей Бетанкуршине, среди доярмачного безлюдья, подобно иным заграничным клубам, называл я ресурсом.

Другой подполковник, испанец Бауса, слегка либерал, недовольный Фердинандом VII, и в котором кастиланская гордость более походила на немецкую чопорность, другом своим Бетанкуром, года за два перед тем, был выписан из Парижа. Он начальствовал над другими интересами, заведовал всеми работами, и сколько я мог понимать, дело своё смыслил.

Того нельзя было сказать о двух других испанцах, В. и Э., также недовольных как Бауса, и во время заграничной поездки моей, под его покровительство из Парижа прибывших в Петербург. Я удивился, наряду их, когда увидел его. Он состоял из весьма поношенных фрака, горохового или кирпичного цвета, старого покроя, и голубых панталон с ботфортами. Почти вслед за ними, приехав из города, в котором за дешёвую цену можно было довольно щеголевато нарядиться, я должен был заключить, что они в нём претерпевали крайнюю нищету. Вероятно, многие из них находились в одинаковом с ними положении, оставив отечество. Оно же в это время уже лишилось и Мексики и Перу, и для сынов его Россия, Бетанкуром вновь открытая страна, могла некоторым образом заменить их. Мне казалось, что инженерную науку едва ли они более меня знают; всё равно, как великих искусников без экзамена их приняли в службу, первого капитаном, последнего поручиком, и отправили в Нижний Новгород.

Они были ребята добрые, смиренные, без претензий; В. – маленький, толстенький, с небольшим ястребиным, а Э. – маленький, худенький, с большим орлиным носом. Оба они напоминали собой героев Сервантеса, один Санчо Пансу, другой Дон-Кихота. Через три месяца тут нашёл я их не только переряженными, даже перерождёнными. Оливковый цвет лица их как будто выяснился, они смотрели весело, в мундирах, были одеты всегда с иголки, имели лихих лошадей и славные дрожки, часто давали у себя завтраки и находили, что Нижний – Эльдorado.

15 Штаб или штаб-офицер – военный или гражданский чиновник 8,7,6 или 5 класса; ниже этого – обер-офицер, выше – генерал. В. Даль. (Ред.)

Тут находился ещё молодой поручик Петр Данилович Г-н, меньшей брат члена строительного комитета и служащего в нём под моим начальством чиновника. Про него точно можно было сказать, что водой не замутит: тише человека я не знавал. В разнообразии своём природа создаёт людей, наружностью и характером более или менее похожих на всякого рода животных; между ними встречаются и горлицы и тигры. В Г-не ещё более видна была прихоть природы; она образец нашла ему между растениями, она сотворила его плющом. Всякий прямой начальник делался для него необходимым деревом. Он совершенно прилепился, привился к Баусе: когда смерть повалила сей небольшой испанский кедр, не знаю, около какого русского дуба обвился он?

Между сими иностранцами можно было, наконец, найти и одного русского. И какого же ещё? Я люблю употреблять старинные наши поговорки, по мнению моему, чрезвычайно выразительные; и потому двадцатилетнего капитана Алексея Ивановича Рокасовского назову в сем случае отлётным сободем. Одна необычайная его скромность и ослеплённое самолюбие его товарищей могли не дать им почувствовать великого превосходства его перед ними. Отец его, отставной Екатерининский полковник, старался дать ему с братом Платоном самое лучшее образование и совершенно успел в том. Стан был у него самый стройный, лицо, без настоящей красоты, самое миловидное, все движения благородные, а внутренние достоинства его превосходили ещё сии наружные преимущества. Познания свои выказывал он в делах, а не на словах, был деятелен, без суетливости, и осторожен, благоразумен, без малейшей хитрости. Оттого-то был он терпим всеми иностранцами и любим всеми русскими. Судьба будет весьма несправедлива, думал я, если когда-нибудь этого юношу не поставит на высокую степень: спасибо ей, она исполнила мой желания.

Мне нужно было наперёд представить общество людей, с которыми почти каждый день я вместе должен был обедать, и которых по несколько раз в день я видел.

С городскими жителями мы имели мало сношений, исключая одного, именно гражданского губернатора, Александра Семёновича Крюкова<sup>16</sup>, женатого на бедной англичанке. Госпожа Бетанкур, также англичанка, в 1818 году посетив Нижний, познакомилась и сблизилась с сею единоклюмою, женой вице-губернатора. А как в этом же году вышли большие неприятности у губернатора<sup>17</sup> с её мужем, то вследствие их первый был отставлен, и по ходатайству последнего Крюков назначен был губернатором. Устрашённый примером своего предместника и обязанный новою должностью своею Бетанкуру, г. Крюков, и без того слишком мягко нравный, совсем отдал себя ему в кабалу. Он казался чиновником, принадлежащим к его свите, и со всеми нами, особенно со мною, был не только ласков, даже угодлив. А меня это возмущало: я видел в этом совершенный упадок губернаторского звания, которое, вспоминая отца моего, я так высоко ценил.

Мы часто его посещали: дом его вместе с нашим и с домом барона Боде составлял как бы один. За неимением казенного губернаторского дома жил он в собственном, весьма изрядном, и довольно пестро украшенном. Лучшим украшением оного служила единственная дочь его, очень молодая, но уже замужняя, княгиня Надежда Александровна Черкасская. Она ещё более походила на англичанку, чем мать. Пусть заглянут в лучший английский кипсек<sup>18</sup> и выберут прелестнейшее из

16 Два его сына были участниками заговора декабристов по Южному обществу. Оба получили хорошее образование [Примечание из книги: Ф.Ф. Вигель «Записки» (под редакцией С.Я. Штрайха). Захаров, М.: 2000]

17 Нижегородский губернатор Степан Антипович Быховец, действительный статский советник, правил с 1813 по 1818 год (Ред.).

18 Подарочный роскошно изданный альбом гравюр, рисунков, преимущественно женских головок. (От англ. keepsake – подарок на память) (Ред.).

женских лиц, с ним только можно сравнить красоту её в восемнадцать лет. Начиная от шестидесятипятилетнего Бетанкура до четырнадцатилетнего сына его Альфонса, мы все были влюблены в его княгиню. Она же смотрела так невинно и благосклонно вместе, что не любить её было столь же невозможно, как ревновать или подозревать в чем-нибудь. Я не понимаю, как отец ее не попользовался сим нежным расположением нашего старика, чтобы держать его в своей зависимости. Напротив, сей последний необычайную его снисходительность, по мнению моему, часто слишком употреблял во зло.

Ещё был один человек, который приплёлся к нашему обществу: это был полицеймейстер. Будучи офицером гвардии в Преображенском полку, он находился в Аустерлицком сражении. В этот ужасный день он так много набрался страху, что по возвращении из похода, поспешил оставить военную службу. Не знаю, замечено ли это было, заставили ли его выйти, только после того долго и по гражданской части определить его не хотели. Ему удалось по выбору попасть в исправники, – должность, которую отставные офицеры гвардии тогда брезгали. Зная деятельность его, Крюков через Бетанкура выпросил ему должность, на которой я его нашёл. Человек он был замечательный: нужным людям делаться нужным, вот было его правило. Как искусно умел он навязывать всякого рода услуги тем, в коих искал! Как был он согбен перед высшими! Как лицо его без слов всегда говорило им: что прикажете! Как дерзок и нестерпим с теми, кои в нём имели нужду! Уверяют, что после того, по приезде в Нижний всякого сильного при дворе человека, что-нибудь загоралось в этом городе и наперёд приготовленными к тому средствами тотчас потухало, а он, вымаранный сажей, как бы из огня, спешил явиться к вельможе, чтоб успокоить его.

Среди сего малого круга жил я до половины июля. Город был весьма немногочислен; в нём оставались одни только должностные лица; помещики же все разъехались по деревням, и вместе с толпами иногородних к началу ярмарки должны были только приехать; следственно, мне никакого почти не было случая с ними познакомиться. Ярмарка была открыта с барабанным боем, 15-го июля, но никого почти ещё не было, и купцы только что начинали раскладывать свои товары. Прежде, бывало, оканчивалась она 25-го числа, в день Св. Макария, а с перенесением её в Нижний Новгород каждый год опаздывают с её открытием, так что 25 июля едва начинается она, а торг продолжается весь август.

Родные мои сдержали слово. Покойная мать с братом моим, с двумя сестрами и с зятем, Ильей Ивановичем Алексеевым, приехали в Нижний Новгород 17-го числа, накануне дня рождения его, и за три дня до его именин, отпраздновать их со мною и несколько дней потом погостить у меня. Я нанял им квартиру в верхней части города, в доме поляка Зарембы, не знаю как, тут поселившегося, и первые дни безотлучно проводил с ними, так что не заметил как ярмарочная площадь вдруг наводнилась тысячами простого народа на неё нахлынувшего.

Сделать подробное описание этой знаменитой ярмарки считаю здесь ненужным, да и невозможным; ибо из бумаг о сем предмете, бывших у меня в руках, не сохранил я ни одной. В изданной о том книге г. Zubovым видно, что работы, производившиеся пять лет, стоили казне одиннадцать миллионов ассигнациями, тогда как, сколько, я припомню, в смете и трёх не было показано. Из этой же книги видно, что каменный гостиный двор заключает в себе 2.520 лавок, но сколько получает сбора, того, к сожалению, не сказано, а желательно бы знать, выручает ли казна хотя шесть процентов с издержанного ею капитала? В моё время, если не ошибаюсь, с деревянных лавок получалось было не с большим сто тысяч рублей ассигнациями.

Маленький город, с маленьким дворцом, с храмами православным и иноверными, в котором полтора месяца кишит до двухсот тысяч приезжих и пришедших, не удалось мне видеть, а только возвышение грунта

для его построения. Что же касается до временной ярмарки, я находил, что, в самом большом размере, она походит на пензенскую. Также из досок сколоченные ряды, только в некотором от них расстоянии прочные строения, театр, трактиры, бани. Там только во всякое время дозволено было разводить огонь. Не знаю почему, один купец Колосов серед ярмарки пользовался тою же привилегией. У него, говорили, была молодая жена, которую он ко всем ревновал, с которою не хотел разлучаться и для того, за большие деньги, выпросил себе право построить, хотя временное, но прочное помещение. Он был царем китайской у нас торговли, через его руки проходил весь чай, который распивается в России, и одних пошлин, говорили, платил он более ста тысяч рублей ассигнациями. Такому человеку снисходительность оказать можно было. Невидимая часть ярмарки была самая важнейшая: оптовая продажа и вообще все большие торговые сделки, которые, за неимением биржи, совершались на домах.

Я упомянул о временном ярмарочном театре; был ещё в городе другой, деревянный, постоянный. Надобно знать, что в царствование Екатерины, когда русские бегом бежали навстречу к просвещению, они воспринимали преимущественно, как народ молодой, все новые забавы, которые представлял им Запад: оттого-то так много расплодилось домашних оркестров и трупп. В каждом губернском городе был обыкновенно один помещик-забавник или, лучше сказать, забавитель публики. В одной Пензе, как видели, было, их некогда трое. Сего мало: почти в каждой губернии был ещё один помещик-тиран, обыкновенно человек богатый, а иногда знатный и чиновный. Безответные крестьяне и дворяне не имели никаких причин на них жаловаться: зато горе соседям, не только мелкопоместным, но даже зажиточным дворянам, когда они отказывались исполнять их прихоти. Первые они дарили, последних часто угощали у себя грубо-роскошною трапезой. Но коль скоро произойдут какие-нибудь несогласия, возбудится в них досада, они не удовольствуются одними обыкновенными неприятностями: отравой полей, порубкой леса: они посягали на их личность, с ватагой врывались в их селения с тем, чтоб иногда предавать их телесному наказанию. Непонятно, как такое жестокое самоуправие могло быть терпимо. Для такой нравственной силы одного богатства было бы недостаточно, нужны были смелость и великая твердость воли. Зато эти люди всем располагали на выборах, исправники трепетали пред ними, и сами губернаторы старались обходиться с ними осторожнее.

Учредителем нижегородского театра был меньшой брат богатого в Москве князя, Бориса Григорьевича Шаховского, бедный князь Николай Григорьевич. Оба одержимы были сильною сценоманией, но старший имел актёров для своей забавы, меньшой для прибыли. Странно видеть человека, когда он берется совсем не за свое дело: этот Шаховской не имел никакого понятия ни о музыке, ни о драматическом искусстве, а между тем ужасным образом законодательствовал в своём закулисном царстве. Всё, что ему казалось несколько неприличным или двусмысленным, он беспощадно выкидывал из пьес; в труппе своей вводил монастырскую дисциплину, требовал величайшей благопристойности на сцене, так чтобы актёр во время игры никогда не мог коснуться актрисы, находился бы всегда от неё не менее, как на аршин, и когда она должна была падать в обморок, только примерно поддерживал её. После того можно себе представить, как движения их были свободны и ловки. Я не имел довольно пристрастия к Пензе, чтобы актёров её предпочесть нижегородским, однако ж, и этим перед теми преимуществами дать не могу: вообще, трудно мне решить, которые из них были хуже. Вот ещё одна странность Шаховского: он находил (вероятно, из экономических видов), что сцена производит гораздо более эффекта, когда она одна только освещена, а все другие части театра погружены во тьму. Оттого-то в партере можно было играть в жмурки, а в ложах,



чтобы рассмотреть друг друга в лицо, каждый привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы. Он к нам был чрезвычайно милостив, дал Бетанкуру даром ложу и поднёс билет на все летние представления; только к этой щедроте хотя бы огарок прибавил. И этот друг Таалии<sup>19</sup> и Момуса<sup>20</sup> был молчаливый, мрачный и невзрачный старичок. У него была жена гораздо моложе его, отменно добрая, да три подрастающих дочери.

Сверх того, в самом городе была ещё зала, не весьма огромная и не весьма красивая, в которой собирались дворяне выбирать друг друга в должности, а зимой играть в карты и танцевать. Я видел её ещё до ярмарки, когда дворянство давало Бетанкуру бал. Постоянным старшиной этого собрания был тот же самый печальный Шаховской, следовательно, – источником всех городских увеселений.

Я представил веселую, забавную (хотя не слишком) сторону тогдашнего нижегородского житья, а затем вот и ужасная. Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович. Царского происхождения, с полуденною кровью, с пылыми страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Макарьева. Все приезжие, покупатели и торгующие, находя в Лыскове гораздо более удобств и простора, нанимали тут квартиры во время ярмарки, и это время для Грузинского было самое блистательное и прибыльное в году, так что с каждым годом, казалось, сила его умножается. Переведение этого огромного торжища в Нижний Новгород нанесло первый, но решительный удар его могуществу. Я не нашел его столь страшным, хотя показалось мне, что глаза его выражают ещё утихающую бурю. Видно, к приезжим был он милостивее; ибо я не могу нахвалиться его приемом, когда у него обедал. Он был в это время вдов: жена его скончалась во цвете лет, замученная столько же частыми изъявлениями его бешеной любви, как и порывами его неукротимого гнева, и оставила ему сына и дочь. Сын, офицер гвардии, умер ещё в молодости; а единственная, прелестная тогда дочь его убежала общества и, вопреки обычаям других красавиц, столь же тщательно скрывала красоту свою, как те её любят показывать. Впоследствии она была замужем за одним весьма мне знакомым графом<sup>21</sup>.

Сначала только, по приезде моих родных, мог я несколько дней провести с ними вместе. Вскоре целыми гурьбами привалили пензенцы, саратовцы и помещики других соседних губерний. Между ними было много знакомых, частых посетителей; я тоже должен был воротиться к умножившимся занятиям моим: итак, будучи развлечены, мы были почти разлучены. Всё зашумело, всё задвигалось в городе: я говорю, в самом городе, ибо только в верхней части его можно было найти помещение. Кунавинская слобода, примыкающая к ярмарочной площади, состояла тогда вся из хижин; кой-где начинали однако же подниматься в ней хорошие строения. Долго после того порядочные люди не решались в ней жить; она почиталась местом развратных увеселений.

Кстати, о приискании помещений, в рассказе моём я не должен пропустить один случай, который показывает излишнюю снисходительность русских к иностранцам и оттого их наглость с ними; в числе приезжих находился один турист, самый простой джентльмен, даже с весьма ледащею<sup>22</sup> наружностью. В дорожном платье явился он прямо к Бетанкуру с письмом от кого-то, и с требованием, чтоб ему отыскана была квартира. Начальник мой был великий энтузиаст всего британского, был коленопреклонён перед отчизной механики и жены своей. Он немного за-

19 В древнегреческой мифологии – одна из девяти муз, покровительница комедии (Ред.).

20 В древнегреческой мифологии – бог шуток, насмешек, злословия (Ред.).

21

22 Слабосильный, тщедушный (Ред.).

труднился; тогда англичанин, указывая на меня, сказал; да велите вот ему. «И подлинно, – сказал Бетанкур, – не возьмете ли на себя?» Молча взглянул я на него, он понял немой, исполненный негодования ответ мой и прибавил: «Или лучше прикажите кому-нибудь этим заняться». «Я поручу этого господина попечениям курьера вашего превосходительства», – сказал я, а курьеру наказал спроводить его в Кунавинскую слободу.

Видно он был не слишком важная фигура, потому что ни Бетанкур, ни губернатор ни разу не пригласили его к себе, и никто не взял труда узнать как он прозывается. Наконец, он явился в собрании на бале, в странном фраке с длинными фалдами, с огромною лысиной и с маленьким лорнетом на шнурке, в правый глаз вставленным, что показалось великою новостью. Он остановился посреди залы, вынул из кармана записную книжку и карандаш, а потом, окидывая взорами общество; стал что-то записывать или рисовать. Иные смотрели с уважением и любопытством на оригинальность, которую всякий подданный великой морской державы, лишь бы не совсем принадлежал к простонародию, называв на себя накладывать; другие находили это не совсем приличным; я один чувствовал сильное негодование. Но тут случился один молодой человек, который воскипел гневом. Он принадлежал к одной небогатой ветви Нарышкиных, в Нижегородской губернии поселившейся; звали его Петр Александрович. Кроме фамильного имени в нём не было ничего блестящего, он был простой русский человек, дорожил народною честью, и тем самым казался отпадшим членом от знатных родов. Он с видом ярости подошёл к британцу, и опустив голос, молвил ему нечто, вероятно, весьма энергическое. Тот посмотрел на него с удивлением, весьма хладнокровно положил книжку в карман и скрылся в толпе. И после того этот же неуч будет обвинять северных варваров в негостеприимстве: попытался бы какой-нибудь русский сделать то же самое в Англии!

Устав от шума мать моя начинала собираться в обратный путь. Из знакомых в Нижнем, ею найденных, чаще всех она видела двух духовных особ. Первый был епархиальный архиерей Моисей, прежде бывший епископом в Пензе. Он был добр, весел, ещё не стар и в церкви весьма красноречиво и назидательно проповедовал. Другая особа была двоюродная сестра её, некогда вдова, Дарья Михайловна Новикова, урождённая Мартынова, сестра чудака Фёдора Михайловича и Натальи Михайловны Загоскиных, коих прошу не забывать. Тогда она была настоятельницей женского монастыря, во иночестве Дорофея. Она одарена была умом необыкновенным, характером гибким и твердым, предприимчивым и терпеливым, и умела сливать честолюбие со смирением. После малочиновного и не весьма любимого мужа оставшись с тремя детьми в недостаточном положении, ей было душно в провинциальном свете, где никто не понимал её, и где презирали её бедностию. Но простою монахиней она долго оставаться не могла; она в пензенском же монастыре составила особливую общину; самые несогласия её с другими инокинями обратили на неё внимание начальства, и вскоре потом она была назначена игуменьей нижегородского монастыря. В нём она была совершенною царицей, когда половина Москвы бежала от неприятеля в Нижний. Все барыни, и между ими весьма знатные, искали её знакомства, и она всех наделяла христианскими утешениями. С этого времени она вошла в связи с обеими столицами и сделалась великим авторитетом на который сами архиереи смотрели с уважением и не без страха.

С 1-го августа по 6-е, то есть от первого Спаса по второй, была ярмарка, как говорили, в самом разгаре; куда ни поедешь, в ряды ли, по городу ли, везде скачка, везде суматоха. Роскошным обедам также конца не было у губернатора, у князя Грузинского, а из приезжих – у богача-генерала Дмитрия Дмитриевича Шепелева, да у пензенских Хрущовых, и ещё у некоторых других. О скучных театре и балах в благородном собрании уже не говорю. Для меня величайшим удовольствием было ходить

между простыми торговцами, прислушиваться к их толкам, дивиться торговой оборотливости русских людей. Это делал я почти всякий раз, когда не был со своими. Для них скоро пришёл день отъезда. Отслушав в день Преображения обедню в старинном соборе, в котором находились могилы князей и Минина, и который после, по ветхости, должны были разобрать, мать моя с семейством отправилась домой. Отъезд её был как будто сигналом и для других. Однако же не все тронулись вдруг; отлив совершился постепенно. Только через несколько дней и Бетанкур, к удовольствию моему, начал поговаривать о Петербурге, и даже 1-е сентября назначил последним сроком для отбытия нашего. Мне же судьба не веле-ла так скоро расстаться с Нижним, как увидим далее.

Лечение моё парижское, не сопровождаемое должным воздержани-ем, оставило во мне жестокие следы. Весь физический состав мой был потрясён, и хотя боли, ломота совершенно прекратились, я чувствовал изнеможение сил телесных и умственных. Другие может быть не заме-чали сего, да я и сам старался обманывать себя на этот счёт и боролся с возрастающими недугами. Приметно исчезала во мне деятельность и овладевала мною тягостная лень.

Лето стояло самое мудрёное: несносные жары беспрестанно сменяли сырую, холодную погоду и были ею сменяемы; поле, на котором выстро-ены ряды, на котором толпились десятки тысяч народа, было то чрез-мерно увлажяемо проливными дождями, то от сильных солнечных лучей издавало зловредные испарения, и уже начинали показываться зарази-тельные болезни. Может быть и это имело влияние на моё здоровье. Вдруг без всякой причины одолела меня тоска неизъяснимая, ко всему получил я отвращение, и всё возвещало мне, что со мною случится что-нибудь необыкновенное.

Так прошло несколько дней, когда, наконец, в воскресенье, 17 авгу-ста, встав от обеденного стола, за которым я ни до чего не касался, мне пришла охота куда-нибудь бежать. Я пошёл на ярмарку; там большая часть лавок была заперта, в других поспешно укладывались, воздух был тёплый, но небо мрачное, и всё, казалось, уныло. Во мне родилось такое отчаянье, что, проходя по мосту, я готов был броситься в Оку. Меня внезапно охватило холодом, я бегом побежал домой, и хотя скоро лёг в постель, однако несколько часов не мог избавиться от озноба.

На другое утро, после беспокойного сна, при необычайной слабости, чувствуя несносный жар и холод вместе, начал я вставать с постели и надевал сапоги, когда нечаянно вошёл ко мне Маничаров. Он попятил-ся от ужаса: так в одну ночь лицо моё изменилось. Тщетно уговаривал он меня успокоиться, я его не послушался и медленно продолжал оде-ваться. Тогда он побежал доложить о моём упрямстве, и вскоре пришёл Ранд именем генерала просить меня, а если нужно требовать, чтоб я лёг в постель и послал за врачом. На первое я согласился, на второе нет: как Базиля в «*Фигаровой женитьбе*»<sup>23</sup> укладывали человека, в котором всё показывало отсутствие рассудка. К вечеру болезнь так усилилась, что сам Бетанкур привёл с собою доктора Либошица. Обнаружилась го-рячка самая злокачественная; гнилая, нервная; не дали ей настоящего имени тифуса,<sup>24</sup> потому что, кажется, его ещё не знали.

Самое жестокое в этого рода болезнях есть сохранение памяти при мучении и тоске нестерпимых. Я помню, как всё тело моё изъязвлено было синаписмами и шпанскими мухами, что, конечно, оттягивая жар, умножало, однако же, нервные страдания. Ещё более помню я совер-шенно родственные, нежные попечения обо мне людей мне чуждых. Как забыть мне и преданность верного и пьяного слуги моего Василья, ко-

23 Пьеса Пьера Огюстена Карона де.Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Ред.).

24 Тиф – название ряда острых заразных заболеваний, сопровождающихся ли-хорадкой и помрачением сознания (Ред.).

торый в это время до водки не касался, и ни дня, ни ночи вокруг меня не звал покоя! Хотелось бы забыть мне бесчеловечную, грубую алчность моего врача. Дело естественное, он был еврей, и едва ли крещённый: хотя тяжело больному изъяслять опасение насчёт уплаты за труды, когда его не станет, но, чтоб успокоить его, я сказал ему, что за то поручится мой начальник.

Наступил двенадцатый, решительный день, 28-ое августа. Либошиц пришёл довольно рано, пощупал пульс, посмотрел язык, и ни слова не сказал. Я спросил его, отчего по всей коже моей показавшаяся сперва красные пятна превратились в фиолетовые, а тут сделались черными? «Да у вас и язык уже весь почернел», – отвечал он. Кажется довольно бы сего приговора, а между тем, выходя, он остановился у дверей и вслух сказал слуге моему и случившемуся тут одному из инженерных офицеров: «Не мучьте его понапрасну, не давайте ему более лекарств, я думаю, он и суток не проживёт». Я принял это довольно хладнокровно: не смею назвать это стоицизмом, а скорее остолбенением, каким-то душевным онемением. Пришёл Бетанкур и, забывшись, стал при мне умывать руки уксусом, которым вся комната была накурена как у чумных. Молча, одною рукой взял он меня за пульс, и держа в другой часы, считал пульсации; вдруг он с гневом отбросил мою руку и убежал: добрый старик рассердился на болезнь. За ним, все начали приходить поодиночке, как будто прощаться со мною. Не касаясь меня, становились они против меня, у ног моих. Со всеми я говорил свободно, ласково, о близкой кончине моей, каждому изъясляя искреннее желание, после себя, всякого благополучия. В полдень открылись двери, и торжественно вступила тетка моя, игуменья Дорофея. Она с важностью села против меня и между нами начался следующий разговор:

– Знаешь ли ты, мой друг, в каком ты находишься положении?

– Знаю.

– Знаешь ли ты, что с часу на час ты должен ожидать смерти?

– Знаю.

– Чего же ты медлишь послать за священником, в ту минуту, когда должна решиться участь твоя в вечности?

Уже поздно, – отвечал я, – теперь покаяние было бы действием страха. Я всегда веровал в Господа Бога и в Его милосердие; оно одно прости мне прегрешения мои во мзду немногих добрых дел и чувств.

Она продолжала красноречивые убеждения свои, а я вышел из терпения.

– Вы мне надоели, оставьте меня, – вскрикнул я, выпрямясь перед нею пугалом, привидением; огонь, который пожирал существо моё, ярко заблестал во впавших глазах моих. Она отворотилась с ужасом, как бы видя перед собою добычу демона; потом встала и, уходя, промолвила:

– По крайней мере, позволь прийти священнику со святою водой и отслужить молебен.

– Хорошо, отвечал я, – только часу в девятом вечера.

Про себя подумал я, что тогда уже он меня не застанет. Это было совершенное безумие, и неужели Всевышний строго осудил бы издыхающего сумасброда, когда и законы человеческие, по большей части столь несправедливые и жестокие, так снисходительны к умалишенным?

По выходе игуменьи, несколько часов я оставался совершенно один, как будто всеми брошенный; и утомленный беспрестанным бдением, сам слуга мой предался невольному сну в боковой комнате. Жар больного воображения стал сильнее действовать в голове моей: одна нелепица сменяла другую. И вдруг на память пришла мне мать моя, о которой во время болезни я ни разу не подумал: до того всё переменилось во мне. Я представил себе горесть её, когда обо мне получит она известие. За нею всё, что мне было любезно, мило, и люди, и места, потянулось передо мною прелестною цепью, которая так и притягивала меня к жизни, коей уже почитал я себя чуждым. Равнодушие, покорность моя к судьбе вдруг

превратились в неистовство, в бешенство, я дерзнул самого Бога звать на суд, упрекал Его в жестокости, когда без всякой причины, вдали ещё от старости, внезапно лишает Он меня всех даров своих. Я вертелся, терзал грудь свою, кусал подушки; в душе своей я чувствовал адское мучение. Изнеможённый перешёл я к умилению. Сквозь опущенные сторы сияло заходящее солнце. «Его уже более не увижу, – подумал я; – дай хоть в последний раз взгляну на заката его, столь величественный за Окой». Откуда взялись у меня силы, я встал босой, и держась за стулья, вдоль стены, добрёл до окна. Чуткий слуга мой, к счастью, услышав шорох, вскочил и вошёл в двери в то самое мгновение, когда силы меня оставляли: я зашатался и упал к нему на руки. Он дотацил меня до кровати, на которую и уложил. Скоро сказали, что пришёл священник: «Хорошо», – вот всё, что мог я отвечать. Усадили меня в кресла, посреди подушек, и начался молебен. «Холодно, темно», – всё повторял я слабеющим голосом. А небольшая комната моя наполнилась всеми любопытными, мне сожительствовавшими, и по желанию моему, скорее угаданному, горело дюжины две свечей. Громогласное чтение иерея мне казалось шёпотом, густой туман носился вокруг меня, оконечности тела моего, руки по локоть и ноги по колено, немели, остывали; слух, зрение покидали меня; я отходил. Молебен кончился, и священник, окропив меня святою водою, поднёс к устам моим животворящий крест; бессознательным движением, немеющими руками ухватился я за него, как за спасение своё, и прижал к груди. После того уже без памяти положили меня на ложе. Я не умер, а погрузился в мёртвый сон, тогда, как перед тем редко на полчаса случалось мне забываться.

Надо мной совершилось чудо, точно чудо! Пусть уверяют, что сильное волнение, чувствуемое мною, к вечеру произвело перелом, для меня спасительный. Мне приятно думать, и я в том твердо уверен, что Провидению угодно было, чтоб я ещё пожил, погрешил, подурачился, пострадал и пописал. А для чего это? Неразгаданными Его тайнами мы окружены, и бездельные причины как часто порождают важные последствия. Видеть в себе нечто Им избранное было бы слишком безрассудно, и я просто думаю, что когда висел я над могилой и не упал в неё, на то была та же самая воля, без которой волос не спадёт с головы человеческой. Подробное описание этой болезни иным покажется скучным. Но многим ли удавалось быть одною узкою чертой отделёнными от вечности и круто поворотить от неё вспять? И те, с коими случалось сие, не забывали ли того? А если и не забывали, то верно уже не изображали. Вот почему, я думаю, что для иных будет сие любопытно. Я могу сказать, что я отведал смерти, и до того что в Петербурге, в Москве, успел прослать покойником: появление моё в сих столицах могло одно поправить сию печальную репутацию.

Утром на другой день, когда Бетанкур прислал узнать, в котором часу я скончался, ему отвечали, что я жив и сплю. Чтоб удостовериться в истине сего донесения, он пришёл сам: так случилось, что в эту минуту я проснулся. Он повторил то, что делал накануне, и когда увидел, что быстрота и число пульсаций наполовину уменьшились, забыв опасность, бросился обнимать меня; это одно должно уже примирить меня с его памятью. После того я впал в летаргию, и когда очнулся, то не понимал уже ничего, что мне говорили, никого почти не узнавал и молот всякий вздор. Чрезмерное напряжение жизненных пружин до того ослабило мою голову, что когда мне стало легче, несколько дней я двух идей не мог связать. К вечеру в этот день, 29-го числа, приехал брат мой Павел Филиппович, за которым Бетанкур посылал в Пензу нарочного. Я с трудом и его мог распознать.

Между тем начальник мой со свитой совсем собрался в Петербург. Одного в пустом доме нельзя было меня оставить. На общем совете с братом положено на другой же день, 30-го числа, перевезти брэнное тело мое в наёмную квартиру, к священнику Покровской церкви, на

Большой Покровской улице. Ужасные мучения вынес я в этот Александров день: инженеры давали Бетанкуру прощальный обед, у него же самого наверху; полицеймейстер хотел тоже подслужиться и привёл музыкантов, которые загремели у меня под самыми окнами. Бетанкур в ту же секунду велел прогнать их. И действительно, сильные звуки для расслабленных нервов – пытка: пришел почти в себя, я, говорят, завопил нечеловеческим голосом. Пока солнце не село, меня уложили в четвероместную карету и вместе с братом потащили вверх на гору. Трясая езда была для меня новою казнию; я не понимал чего от меня хотят, что творят со мною, и жалобно выл. Бетанкур навестил меня 31-го числа; его узнал я, понял, что он приехал проститься, и слезы показались у меня на глазах. Чтоб успокоить меня, он сказал, что поручил меня попечениям рядом живущей со мною человеколюбивой баронессы Моренгейм, тещи барона Боде. Если б я и понял его, то мало был бы утешен, ибо к этой даме не чувствовал я ни малейшей симпатии. Он уехал, чем свет 1-го сентября.

Выздоровление не вдруг превращается в приятное чувство: надобно сперва пройти через тоску, действие безмерной слабости. Я бывало не мог глаз закрыть; страшные чудовища, которые иногда являют фантазмагорические представления, ни что перед теми, которые мне мерещились. На другие страдания я жаловаться не смею: они были мне полезны; сильный переворот в составе моём взволновал, расшевелил в нём всё дурное и выбросил наружу: всё тело моё покрылось нарывами, которые совершенно очистили во мне кровь.

Мне, впрочем, было хорошо: со мною был брат мой, которого хотя всякий день куда-нибудь звали обедать, но который остальное время не отлучался от меня. Человеколюбивой Моренгейм я в глаза не видал; попечения её обо мне ограничивались присылкою жиденького супа с кухни своей. Зато другая женщина, русская, игуменья, часто навещала меня; я не гнал её уже прочь, а с наслаждением внимал речам её, проникнутым христианскою нежностью. Я не дожидаясь совета её, чтобы 14-го сентября, в день Воздвижения Креста, через силу отправиться в церковь и причаститься св. таин. Не покидая жизнь, а возвращаясь к ней, и в здравом смысле, хотел я очиститься святыми дарами. По совершении сего, вдруг так быстро стали приходить ко мне силы, без помощи лекарств, даже подкрепительных, о коих давно я уже слышать не хотел, что брат мой, не находя более присутствие своё для меня необходимым, через два дня, 16-го числа, отправился в обратный путь.

Через несколько дней я в состоянии был то же сделать. Меня удерживали: мало знакомые, а иные вовсе незнакомые Желали меня у себя видеть и в честь мою давали обеды, не из особого уважения какого, а из любопытства посмотреть на воскресшего, из гроба подъятого Лазаря. Сверх того, меня пугали поздним осенним временем: но я во всём полагался на испытанное мною милосердие Божие; никогда ещё вера моя в него не бывала так тверда. Какие обеты давал я тогда, и увы, как исполнил я их!

Итак, в уповании на помощь Господню, я выехал 28-го сентября, ровно через год после выезда моего из Парижа. Новое чудо! В воздухе сделалось не тепло, а жарко как летом; только после вечерней прохлады скоро наступила осенняя стужа, но я уже был в Озябликовском погосте, где нашёл тёплый и покойный ночлег. Несколько дней сряду стояла такая погода: но дорога скоро меня утомила, я не мог ехать более семидесяти вёрст в день и всякую ночь останавливался. Вторую провёл я в Муроме, третью во Владимире, четвертую, в день Покрова, в городе Покрове, пятую в Новой деревне. Коротенькую станцию до Москвы сделал я 3-го октября.

Ямщик привёз меня в трактир Лейпциг, на Кузнецком мосту, от которого осталось лишь одно только имя: при общей поправке, перестройке, сочли его лишним и уничтожили. Поблизости я поспешил к приятелю

моему Александру Григорьевичу Товарову: но он дом свой продал и поселился в Старой Конюшенной, – в квартале, в счастливое время Москвы мало кому известном, но после пожара вошедшем в моду. После обеда Товаров приехал сам за мной и перетащил к себе. Мне ещё очень нужны были дружеская беседа и попечения.

Мне бы следовало не останавливаться, но как быть! Тут только, в Москве почувствовал я вполне то благосостояние, коим пользуются больные вскоре по выздоровлении. Пять лет перед тем оставил я её в развалинах; тут не мог я налюбоваться белокаменной, красным солнышком постоянно освещаемую; много было в ней древнего, живописного, ничего старого, всё свежо, всё ново, всё выпрямлено, всё изукрашено. Впрочем, город был довольно пуст; невиданная вешняя теплота в глухую осень вероятно удерживала ещё помещиков по деревням. Хозяин мой сам подговаривал меня ехать, пользуясь благоприятною погодой, которая со дня на день, с часу на час, может измениться. Я ни о чём не заботился; про то знает высший мой Хранитель, думал я. На Бога надейся, а сам не плошай, говорил мне Товаров.

Однако ж я послушался его и 11-го октября оставил Москву. Видно и тут силы не совсем ко мне пришли, ибо я ехал так же медленно как из Нижнего. В самый день моего отъезда, небо из светло-голубого превратилось в серенькое, но дождя ещё не было, и дорога была сухая. Только 13 числа, когда ночью въезжал я в Торжок, пошёл первый дождик, сильный, летний, ещё не осенний. На другой день воздух вдруг похолодел и отсырел, и я должен был бороться с дурною дорогой и с дурною погодой: но я как-то не унывал, тепло одевался, преимущественно ночевал в теплых ямских избах. За Новгородом сделалось мне гораздо хуже, когда 16-го числа я должен был рано остановиться на станции Чудово. Я думал, что не доеду до Петербурга, и немного струхнул. Хотя плоть была немощна, но дух ещё довольно бодр: с ним собрался я, чтобы до свету 17-го оставить грязную избу, в которую нечаянно попал я на ночь. Тут нужна была твердость: строилось шоссе, его назначено было следующим летом проводить по той дороге, по которой надлежало мне ехать, и её не чинили. Сделался первый изрядный мороз, что у нас называют утренник; грязь не совсем застыла, по бревенчатой дороге кое-где торчали вверх оледенелые бревешки, кое-где образовавшаяся довольно глубокие лужи подернуло льдом: и тяжело, и скользко, и опасно. Четыре часа с половиною нужно мне было, чтобы сделать двадцать пять вёрст до Померанья. И совершенно здоровому трудно бы было вынести: если бы Бог помог, в этот день хотя бы ещё одну станцию отъехать, сказал я.

Лишь только издали завидел я вновь устроенную, славную стационарную гостиницу померанскую, как всё переменялось. Куда вдруг девались облака? Без их дурного общества, солнце одно засверкало на небе почти с летнею теплотой, на всю зимнюю разлуку, как будто нежно прощаясь с землей. Мне стало отрадно; к тому же, в эту осень только от Померании открыто было шоссе, ещё твердое, не известное; с радостным нетерпением помчался я по нём, и 32 версты до Тосны сделал не с большим в два часа. Я думал, не остановиться ли мне в Ижоре; но когда в сумерки начал я подъезжать к этой станции, небо опять заволокло, и в воздухе кой-где стало показываться что-то похожее на белый пух; тогда я решился не дожидаться зимнего пути. В Царском Селе, чрез которое тогда ездил, настоящим образом пошёл первый для меня снег. Метеорологические странности суть дело обыкновенное в Петербурге; в один день видел я три времени года, и на одной неделе, после долгой засухи, был первый дождь, первый мороз и первый снег. На спуске Пулковой горы заметён уже был чёрный след колёс по убелённой дороге. Лишь только поравнялся я с Среднею Рогаткой (ныне Четыре Руки), поднялся такой вихрь, такая буря, такая метелица, что если б это было в степи, то можно было бы запутаться. По петербургским улицам тяжело было ехать; когда же я остановился у подъезда моей казённой квартиры, пре-

жде чем я вышел из коляски, надобно было отгребать снег, наваливший на кожаный фартук её.

Меня дожидались, и всё готово было к моему приезду. Какое наслаждение, наконец, быть у себя дома, в тёплых, хорошо прибранных и хорошо освещённых комнатах! По великой усталости я скоро отправился спать. Когда на другое утро, 18-го октября, я проснулся, встал и посмотрел в окно, солнце опять ещё сияло, только не грело, и весь Петербург разъезжал в санях, с которыми и не расставался до следующей весны.

Сначала я исполнил первый долг: пошёл помолиться к Спасу на Сенной; потом второй: явился к начальнику своему; он что-то чересчур принял меня ласково. Тут не было ни малейшего притворства, а может быть некоторая совестливость. «После такой тяжкой болезни и трудной осенней дороги, вам необходимо успокоение, – сказал он, – я увольняю вас, по крайней мере, недели на три от всяких забот; отдохните, погуляйте на свободе, а потом опять примемся за дело». Я всегда был отменно доверчив; мне и в голову не вошло подозревать тут перемену намерений его насчёт будущего служения моего.

Во время моего отсутствия, летом и осенью, произошла одна важная перемена в министерствах. Чтобы не забыть, я должен упомянуть здесь о ней. Козодавлев, после кратковременных, но жестоких страданий, умер в июле месяце, Государь получил известие о кончине, его, если не ошибаюсь, в городе Архангельске. Он обозревал тогда весь север государства своего и спешил увидеть Финляндию. Министерство внутренних дел было поручено министру просвещения, князю Александру Николаевичу Голицыну. В начале октября, в самый день возвращения императора, престарелый граф Вязмитинов совсем оделся чтоб ехать во дворец, а пока присел и стал подписывать некоторые бумаги. Вдруг рука его остановилась, в одну минуту прекратились все жизненные его движения: с ним вместе скончалось и управляемое им министерство полиции.

Оно по прежнему вошло в состав министерства внутренних дел и по прежнему поручено управлению графа Кочубея. Он занимал место выше министерского, он был председателем одного из департаментов государственного совета, и принял только звание управляющего, с сохранением прежней должности. Одно чадолюбивое чувство могло заставить его вновь посвятить попечения свои искажённому детищу. В кратковременное его управление, любимцу царскому Голицыну полюбилась в нём почтовая часть, и он выпросил её себе. Из неё составилось особое министерство под названием главного начальства над почтовым департаментом, и в сем виде она и поныне существует. Сам Кочубей счёл нужным передать Гурьеву департамент мануфактур и внутренней торговли. Нет, навсегда уже прошло блестящее время этого министерства.

Случаются обстоятельства в жизни, которые хотелось бы забыть; те, в коих находился я в конце 1819 года, из числа их; но изобразить их здесь для меня необходимость. Тримя неделями свободы и даже более, дарованными мне Бетанкуром, я охотно воспользовался. Как будто новорожденный, я вновь приступал к жизни, всё пленяло меня в ней, всё сияло мне в будущем. Бетанкур и семейство его были со мною любезнее чем когда-либо, звали обедать, на вечер, а о делах с ним ни слова.

Наконец, мне стало совестно, и я пришёл объявить Бетанкуру, что чувствую себя совершенно в силах вновь трудиться при нём. «По прямой вашей должности в петербургском строительном комитете, вы всегда властны вступить в управление делами его; что же касается до других особых дел, государем мне порученных, производством коих вы, по снисходительности вашей ко мне, занимались, то, как уже раз они поступили в канцелярию мою и несколько месяцев там находятся, взять их оттуда было бы напрасно, пусть остаются они у секретаря моего».

«Что бы это значило?», – подумал я. Это значило, что Ранд меня оттирает. Я пропустил несколько дней, приготавливаясь к новому объяснению:



звание директора департамента всё ещё оставалось у меня в виду. Мне, однако же, давно пора было заметить, что всё переменялось для меня. Обхождение со мною инженерных генералов осталось вежливым, как следовало, но не было уже той искательной приветливости, которую я находил в них до поездки в Нижний Новгород. Что ещё более должно было убедить меня в незамеченном мною падении моём, была удвоенная со мною любезность любезнейшего из французов, генерала Карбоньера, который один против Бетанкура составлял тогда тайную оппозицию, превратившуюся после в явную.

Вдруг сказали мне тайком, что готовится докладная записка к императору, в которой титулярному советнику Ранду, в награду за его великие труды, и в поощрение его великих способностей, без университетского аттестата, не в пример другим, испрашивается чин коллежского асессора и с сохранением прежней должности – звание правителя канцелярии. Правитель же канцелярии совета путей сообщения, надворный советник Хрущов, представлен к чину коллежского советника и к должности директора департамента, на место действительного статского советника Серебрякова, которого уволить с пенсией.

Меня поразило это известие, так что я едва поверил ему. С сердцем трепещущим от сожаления и досады, явился я к Бетанкуру и решился спросить об истине мне сказанного.

– Вас не обманули, – сказал он, – вчера государь подписал указы о том.

– Генерал, – сказал я, – вам известно, что я не искал этого места, но со слов ваших желал его получить и в получении был уверен. Вы можете себе представить сколь прискорбно мне должно быть это предпочтение.

– Как быть, – отвечал он, – я заметил, что вы бы никогда не поладили с г. Рандом, у вас совсем разные понятия о вещах; г. Кручкова я почти не знаю, но он очень хорошо знает свою часть, с которой ознакомиться вам нужно было бы время; вы довольно упорны, с Рандом была бы у вас вечная распря; каково же бы мне было беспрестанно мирить вас! С Кручковым этого не будет.

Улыбаясь, сказал я:

– Вероятно, вы удостоверились в том, что о сих господах первоначально даны вам были ложные понятия; что же касается до меня, то позвольте мне сохранить насчёт их то мнение, которое вы мне дали.

– Как хотите, – сказал он с прижатым бешенством.

– И так, карьер мой кончен при вас.

– Ни мало, оставайтесь сколько вам угодно; я даже намерен представить вас государю к чину статского советника.

Когда я заметил ему, что маловажная должность моя не будет соответствовать, он отвечал:

– Ничего, я буду уметь это сделать.

Я не заботился об обещанном мне чине, полагая, что начальник мой испросит мне его при первом личном докладе государю; я не имел аттестата, как же было иначе это сделать? Новое удивление! Сам Бетанкур поспешил возвестить мне, что представление о том сделал чрез военного генерал-губернатора.

– Да это всё равно что ничего, – сказал я: – первое представление обо мне государю сделали вы сами и лично.

– Дело другое, – отвечал он, – тогда был Вязмитинов, на него мы мало смотрели, а Милорадович шутить не любит.

– Да какое ему дело до того? Он даже бы и не узнал о том.

– Не беспокойтесь, я уже с ним о том сам переговорил, и он обещался всё сделать. Да, постойте, я ещё лучше сам к нему напишу, а вы отдадите ему письмо. Вот вам случай с ним познакомиться.

И действительно, во французском письме, которое дал он мне прочесть, не было похвал, которыми бы он меня не осыпал. Мне показалось, что он рехнулся, и я поспешил удовлетворить его желание.

К тому побуждало меня ещё и любопытство. Мне хотелось, хотя раз вблизи посмотреть на человека, который в армии был столь известен как храбрец и чудак. Вместе со многими смешными сторонами он имел и рыцарские замашки. Более всего прославился он необычайным, постоянным счастьем...

Коль скоро доложили ему обо мне, он тотчас велел позвать меня к себе в кабинет: так назывались несколько комнат верхнего этажа в занимаемом для него доме на Невском проспекте, наполненных разными предметами роскоши без большого порядка и вкуса. Он закидал меня словами, от другого весьма бы лестными для моего самолюбия. Когда я сказал ему, что за неимением аттестата, производство должно встретить неодолимое препятствие, он отвечал мне, что никаких препятствий быть не может, когда дело идёт о столь известном человеке как я (я-то тогда известен!), представленном столь необыкновенным человеком как ков мой генерал. Я тотчас увидел, что из этого ничего не выйдет кроме вздора.

Нет никакого сомнения, что и в этом случае покорный Бетанкур послушался совета немилостивого ко мне Ранда. И что же вышло? Милорадович представил обо мне министру внутренних дел, тот – в комитет министров, а комитет отложил это, как говорится, в длинный ящик.

Почти всегда так случалось, что когда готовились в Европе важные происшествия, а в государстве нашем большие перемены, то же самое последовало и в скромной участи моей. Четыре года, описанные мною в сей части, были везде довольно покойны и казались счастливыми после последних бурных годов Наполеонова владычества. Для меня сие четырехлетие было деятельнейшею дотоле эпохой в моей жизни: их заключила жестокая неудача. Но роптать ли мне на то? < ... >